ОЛЬГА ФОРШ — СУМАСШЕДШИЙ КОРАБЛЬ

ОЛЬГА ФОРШ

Сумасшедший Корабль

ВАШИНГТОН
1964

СУМАСШЕДШИЙ КОРАБЛЬ

ОЛЬГА ФОРШ

Сумасшедший Корабль

ПОВЕСТЬ

Вступительные комментарии и отрывки из разных авторов, насельников и гостей «Сумасшедшего корабля», собраны и приведены в возможный порядок, оснащены некоторыми цитатами из произведений упомянутых в повести прозаиков и поэтов стараниями редактора-издателя этой книги Бориса Филиппова.

ВАШИНГТОН
1964

«ДОМ ИСКУССТВ» И «СУМАСШЕДШИЙ КОРАБЛЬ»

«...Пусть читатель не ищет здесь личностей; личностей нет. Обладая достаточным воображением, автор бесчинствует с персонажами по рецепту гоголевской 'невесты', дополняя одних другими, либо черты, чуть намеченные в подлиннике, вытягивает, ну, просто в гротеск, либо рождает целиком новых граждан».

Прочтя эти строки, невольно улыбнешься. Начнем с кристальной прозрачности большинства персонажей и их имен в «Сумасшедшем корабле». Пусть читатель не ждет и от автора предисловия его авторского текста: чтобы как можно теснее и интимнее соприкоснуться с эпохой, описываемой в повести Ольги Форш, автор предисловия сведет его к монтажу цитат из воспоминаний других обитателей «Сумасшедшего корабля» и их друзей, лишь изредка прибегая к своим собственным высказываниям.

Начнем с имени самого дома: «Сумасшедший корабль» — «Дом Искусств», организованный Максимом Горьким при содействии «великого комбинатора» и доставалы, знаменитого дореволюционного ресторатора Ро-

дэ («Вилла Родэ» памятна многим не только петербуржанам), — чтобы как-то поддержать помиравших с голоду, полярного холода и бестопливья, зачастую и просто бездомных писателей страшного, но по-своему пленительного Петербурга 1920—1921 годов. Помещался Дом Искусств в огромном узком здании, выходившем на Невский, Мойку и Большую Морскую, ныне улицу Герцена, в бывшем дворце постройки Варфоломея Растрелли, последним дореволюционным владельцем которого был известнейший хозяин фруктовых и винно-гастрономических магазинов — Елисеев. В повести Ольги Форш хозяева дома переименованы в Ерофеевых. Дом этот напоминал корабль не только Ольге Форш: в своих воспоминаниях «Дом Искусств», другой временный насельник этого художническо-писательского дома-обители, Владислав Ходасевич, поэт, литературовед и критик, пишет, что когда «по вечерам зажигались многочисленные огни в его окнах — некоторые видны были с самой Фонтанки — . . .весь он казался кораблем, идущим сквозь мрак, метель и ненастье».[1]

«Бесчисленные комнаты елисеевского дома скоро были заселены представителями самых различных литературных кругов. Трудно и даже просто невозможно найти в них какое-либо единство. Каждый работал в своем закоулке и общался только с близкими знакомыми или прежними соратниками. Впрочем, объединяющее начало — правда, чисто внешнего порядка — всё же нашлось. Это была просторная кафельная кухня, день и ночь дышавшая ровным сухим теплом, сверкающая безукоризненным глянцем медных кастрюль и сковородок. Здесь по вечерам, когда замирала обычная деловая суета, собирались все

---

[1] Вл. Ходасевич. «Дом Искусств», в книге его: Литературные статьи и воспоминания. Изд. им. Чехова, Нью-Йорк, 1954, стр. 412.

обитатели дома, каждый со своей работой, книгой, рукоделием, — и кухня превращалась в клуб. Стены этого 'клуба' слышали немало любопытнейших бесед на самые острые темы культуры и искусства. Великие события происходили в стране и требовали непосредственного отклика. Но не только они привлекали общее внимание — проблемы искусства, его место в будущем, рождающемся на глазах у всех новом общественном укладе не могли не занимать смятенных литераторских умов. О чем бы ни шла речь, всё сводилось к основному вопросу: как быть дальше литературе, нужна ли она новому миру, каково место писателя и его роль в общем возрождении родной страны? . . .Сталкивались самые различные мнения. Люди обжигали друг друга вспышками немыслимых прежде резкостей. . .»[2]

Петербург тех лет был жуток и романтичен, поражен проказой голода и холода — и нечеловечески красив не только своей архитектурой и Невой, но и какой-то отвлекшейся от всего материального духовностью. Этому не мешала, а даже как-то своеобразно способствовала бешеная погоня за куском насущного хлеба, поленом сырых дров. Один из обитателей Сумасшедшего корабля, Осип Мандельштам, писал в те годы: «Трава на петербургских улицах — первые побеги девственного леса, который покроет место современных городов. Эта яркая, нежная зелень, свежестью своей удивительная, принадлежит новой одухотворенной природе. Воистину Петербург самый передовой город мира. Не метрополитеном, не небоскребом измеряется бег современности: скорость, а веселой травкой, которая пробивается из-под городских камней. . . .Да, ста-

---

[2] Всеволод Рождественский. Страницы жизни. Из литературных воспоминаний. Изд. «Советский Писатель», Москва-Ленинград, 1962, стр. 192—193.

рый мир — 'не от мира сего', но он жив более чем когда-либо. Культура стала церковью. Произошло отделение церкви-культуры от государства. Светская жизнь нас больше не касается, у нас не еда, а трапеза, не комната, а келья, не одежда, а одеяние. Наконец мы обрели внутреннюю свободу, настоящее внутреннее веселье. Воду в глиняных кувшинах пьем как вино, и солнцу больше нравится в монастырской столовой, чем в ресторане. Яблоки, хлеб, картофель — отныне утоляют не только физический, но и духовный голод. Христианин, а теперь всякий культурный человек — христианин, не знает только физического голода, только духовной пищи. Для него и слово плоть и простой хлеб — веселье и тайна».[3] И Петербург тех дней напоминал черный ночной океан: «По вечерам и по ночам — домов в Петербурге больше нет: есть шестиэтажные каменные корабли. Одиноким шестиэтажным миром несется корабль по каменным волнам среди других одиноких шестиэтажных миров; огнями бесчисленных кают сверкает корабль в разбушевавшийся каменный океан улиц. И, конечно, в каютах не жильцы: там — пассажиры. По корабельному просто все незнакомо-знакомы друг с другом, все — граждане осажденной ночным океаном шестиэтажной республики», — так характеризует Петербург той поры Евгений Замятин, облик которого тоже отразился, как увидим дальше, в повести Ольги Форш.[4] Корабль... Корабль — характерный образ для того времени, и не только для «самого умышленного города в мире», как именовал Петербург Достоевский. Уже упомя-

---

[3] «Слово и культура», см. Осип Мандельштам. Собрание сочинений. Изд. им. Чехова, Нью-Йорк, 1955, стр. 322, 323.

[4] Евг. Замятин. Мамай. «Дом Искусств», 1, Петербург, 1921, стр. 7.

нутый нами Мандельштам писал в своих «Сумерках свободы»:

Ну, что ж, попробуем: огромный, неуклюжий,
Скрипучий поворот руля.
Земля плывет. Мужайтесь, мужи.
Как плугом, океан деля,
Мы будем помнить и в летейской стуже,
Что десяти небес нам стоила земля. —

и почти хилиастически восклицал, раздумывая над смыслом на глазах бурно кончающейся *старой* истории:

В ком сердце есть, тот должен слышать, время,
Как твой корабль ко дну идет.[5]

А уж Петербург для Мандельштама — «чудовищный», но вечно-прекрасный и приснопамятный корабль:

Чудовищный корабль на страшной высоте
Несется, крылья расправляет —
Зеленая звезда, в прекрасной нищете
Твой брат, Петрополь, умирает.[6]

Александр Блок, «трагический тенор эпохи» (в повести Форш — Гаэтан), в проекте декларации издательства «Алконост», писал в 1919 году: «Группа писателей, объединившаяся в 'Алконосте', проникнута тревогой перед развертывающимися событиями, наступление которых она чувствовала и предсказывала, потому она обращена лицом не к прошедшему, тем менее — к настоящему, но к будущему».[7] Но в *будущее* скоро, очень скоро, вера тоже про-

---

[5] «Знамя Труда», № 209, 24 (11) мая 1918.

[6] Осип Мандельштам. Tristia. Изд. «Петрополис», Петербург-Берлин, 1922, стр. 69.

[7] Цитирую по статье: Ф. Борисов. Россия и революция. «Грани», № 2, Кассель, 1946, стр. 35.

пала. Не только у одного Блока, оплакавшего совершенно открыто русскую культуру в своей «предсмертной» пушкинской речи, в Доме Литераторов, в Петербурге, 13 февраля 1921 года: «И Пушкина тоже убила вовсе не пуля Дантеса. Его убило отсутствие воздуха. С ним умирала его культура.

> Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит.

Это — предсмертные вздохи Пушкина, и также — вздохи культуры пушкинской поры.

> На свете счастья нет, а есть покой и воля.

Покой и воля. Они необходимы поэту для освобождения гармонии. Но покой и волю тоже отнимают. Не внешний покой, а творческий. Не ребяческую волю, не свободу либеральничать, а творческую волю, — тайную свободу. И поэт умирает, потому что дышать ему уже нечем; жизнь потеряла смысл. Любезные чиновники, которые мешали поэту испытывать гармонией сердца, навсегда сохранили за собой кличку черни. Но они мешали поэту лишь в третьем его деле. ...Пускай же остерегутся от худшей клички те чиновники, которые собираются направлять поэзию по каким-то собственным руслам, посягая на ее тайную свободу и препятствуя ей выполнять ее таинственное назначение. Мы умираем, а искусство остается. Его конечные цели нам неизвестны и не могут быть известны. Оно единосущно и нераздельно».[8]

> И ночь Петербурга...
> ...И ветер с залива. А там, между строк,

[8] О назначении поэта. Александр Блок. Собрание сочинений в 8 томах. Том 6, ГИХЛ, Москва-Ленинград, 1962, стр. 167—168.

Минуя и ахи и охи,
Тебе улыбнется презрительно Блок —
Трагический тенор эпохи.[9]

...Вечер Блока в Большом Драматическом театре, 25 апреля 1921. Он — тоже нарисован в повести Форш. Со вступительным словом на вечере выступает «памятный человек, талантливый критик и невыраженный поэт» (Корней Чуковский). Это было время, когда Блок уже перестал писать стихи. И на недоуменный вопрос Чуковского — «почему он не пишет стихов, он постоянно отвечал одно и то же:

— Все звуки прекратились. Разве вы не слышите, что никаких звуков нет?

'Новых звуков давно не слышно, — говорил он в письме ко мне. — Все они притушены для меня, как, вероятно, для всех нас... Было бы кощунственно и лживо припоминать рассудком звуки в беззвучном пространстве'...

Он всегда не только ушами, но всей кожей, всем существом ощущал окружавшую его 'музыку мира'. ...Вслушиваться в эту музыку эпох он умел, как никто. Поистине, у него был сейсмографический слух: задолго до войны и революции он уже слышал их музыку. Эта-то музыка и прекратилась теперь...»[10]

Даже такие детали, что на вечере этом сидели в ложах «Кармен» и «сама», вместе с матерью Блока, — в повести Ольги Форш не случайны и не произвольны: это — возлюбленная и большой друг поэта — певица Музыкаль-

---

[9] Анна Ахматова. Стихотворения (1909—1960). ГИХЛ, Москва, 1961, стр. 230—231.

[10] Корней Чуковский. Александр Блок. В его книге: Современники. Портреты и этюды. Изд. «Молодая Гвардия», Москва, 1962, стр. 487—488.

ной драмы, известная исполнительница роли Кармен, Любовь Александровна Андреева-Дельмас, та, которой посвящен цикл стихов «Кармен», и жена поэта — Любовь Дмитриевна, по сцене Басаргина.

Да, всем сердцем, всею душой слышавший музыку России, музыку стихий, музыку революции, Блок был неспособен услышать ее в сухом и бесчеловечном, таком обездушенном стуке резолюций и инструкций партийных чиновников, «которые собираются направлять поэзию по каким-то собственным руслам, посягая на ее тайную свободу». Блок ясно видит, что эти чинодралы начального партийного контроля над литературой, а будущего «социалистического реализма» — порождение более давнего времени: русской *критики* прошлого века, с ее начальственным окриком на писателей. Он ополчается на тех, именем которых будут казнить современных творцов инквизиторы социалистического реализма: Ждановы и Ермиловы всех сортов и калибров. «Между тем жизнь Пушкина, склоняясь к закату, всё больше наполнялась преградами, которые ставились на его путях. Слабел Пушкин — слабела с ним вместе и культура его поры: единственной культурной эпохи в России прошлого века. Приближались роковые сороковые годы. Над смертным одром Пушкина раздавался младенческий лепет Белинского. Этот лепет казался нам совершенно противоположным, совершенно враждебным вежливому голосу графа Бенкендорфа. Он кажется нам таковым и до сих пор. Было бы слишком больно всем нам, если бы оказалось, что это — не так. И, если это даже не совсем так, будем всё-таки думать, что это совсем не так. Пока еще ведь —

Тьмы низких истин нам дороже
Нас возвышающий обман.

Во второй половине века то, что слышалось в младен-

ческом лепете Белинского, Писарев орал уже во всю глотку. От дальнейших сопоставлений я воздержусь, ибо довести картину до ясности пока невозможно. . .»[11]

И Блок умирает: дышать ему уже больше нечем: он не может и писать стихов: он больше не слышит музыки времени. И надгробными словами, напутствием поэту, прозвучали полувысокомерные-полуисповедные фразки наркома *просвещения* Анатолия Луначарского: «Блок проходит мимо Ленина. Он не слышит 'музыки' в речах Ленина. Ему, напротив, кажется, что большевики-то — это какой-то поплавок на поверхности разбушевавшихся народных масс, а Ленин и его разумность, очевидно, казались Блоку лишь порождением того же интеллигентского разума, который хочет сделать прививку своих программных затей к великому, внезапно выросшему, таинственному древу, родившемуся из недр народа».[12]

«Для Блока всё это было грозней. Но земля притягивала камень и полет превращался в падение. Блок говорил: 'Убийство можно обратить в худшее из ремесл'. Блок потерпел крушение дела, в которое он вложил свою душу. От старой дореволюционной культуры он уже отказался. Новой не создалось. Уже носили галифе. Не вышло. Блок умер от отчаяния. Он не знал от чего умереть.... Перед смертью бредил. Он хлопотал о выезде заграницу. Уже получил разрешение. Не знаю, помог ли бы отъезд. Может быть, Россия лучше на расстоянии. Ему казалось, что выносят уже вещи. Он едет заграницу... Умер Блок. Несли его до Смоленского кладбища на руках. Народу было ма-

[11] «О назначении поэта», Александр Блок. Собрание сочинений в 8 томах. Том 6, ГИХЛ, Москва-Ленинград, 1962, стр. 166—167.

[12] Цитирую по статье: Ф. Борисов. Россия и революция. «Грани», № 2, Кассель, 1946, стр. 35.

ло. Все, кто остались. . . .Смерть Блока была эпохой в жизни русской интеллигенции. Пропала вера. . .»[13]

Принесли мы Смоленской Заступнице,
Принесли Пресвятой Богородице
Наше солнце, в муке погасшее —
Александра, лебедя чистого.[14]

Так — народной вопленницей — оплакала Блока Анна Ахматова. А другая — великая — русская песнотворица, Марина Цветаева, — тоже о нем, о лебеде:

Други его — не тревожьте его!
Слуги его — не тревожьте его!
Было так ясно на лике его:
Царство мое не от мира сего.
Вещие вьюги кружили вдоль жил,
Плечи сутулые гнулись от крыл.
В певчую прорезь, в запекшийся пыл —
Лебедем душу свою упустил![15]

. . .А идею, что русскую культуру, саму Россию, русскую революцию, как народную стихию, а — в первую очередь — русскую литературу погубили позитивно-материалистическая рассудочность и безбожно-моральная учительность, проповедничество хуже, чем жандармов Бенкендорфов, — жандармов русской мысли и русского творчества от Белинских и Писаревых, Чернышевских и Добролюбовых — и до Ленина, — эту мысль — в части, правда, только литера-

---

[13] Виктор Шкловский. Сентиментальное путешествие. Воспоминания 1918—1923. Изд. «Атеней», Ленинград, 1924, стр. 141—143.

[14] Анна Ахматова. Anno Domini. Изд. «Петрополис», Петербург-Берлин, 1923, стр. 41.

[15] Марина Цветаева. Стихи к Блоку. Изд. «Огоньки», Берлин, 1922, стр. 30.

туры — подхватили развившиеся, главным образом, в недрах того же «Сумасшедшего корабля» *формалисты,* из них же первый — Виктор Шкловский: здесь он — прямой наследник пушкинской речи Блока:

«. . .В основе формальный метод прост. Возвращение к мастерству. Самое замечательное в нем то, что он не отрицает идейного содержания искусства, но считает так называемое содержание одним из явлений формы. Мысль так же противопоставляется мысли, как слово слову, образ образу. Искусство в основе иронично и разрушительно. Оно оживляет мир. Задача его — *создание неравенств.* Оно создает их путем сопоставлений. . . .Вопроса о беспредметном искусстве не существует; есть вопрос о мотивированном и немотивированном искусстве. Искусство развивается *разумом своей техники.* Техника романа создала 'тип'. Гамлет создан техникой сцены.

Я ненавижу Иванова-Разумника, Горнфельда, Василевских всех сортов, *убийцу русской литературы* (неудачного) *Белинского.* Я ненавижу всю *газетную мелочь* — критиков современности. Если бы у меня была лошадь, я ездил бы на ней и ею топтал бы их. Теперь стопчу их ножками своего письменного стола. Ненавижу людей, обламывающих острие меча. Они губят созданное художником».[16]

Эти споры формалистов, марксистов, философов-идеалистов — очень полно отразились в «Сумасшедшем корабле». Вот «Акович» — знаменитый мыслитель и критик-символист Аким Волынский: «В комнате с амурами на потолке жил Аким Волынский. Он сидел в пальто и шапке и читал Отцов Церкви по-гречески. Вечером он пил чай на кухне», — вспоминает его сотоварищ по Дому Искусств

---

[16] Виктор Шкловский. Цитир. выше книга, стр. 129—131. Курсив мой.

Виктор Шкловский.[17] «Жил еще... Аким Волынский, изнемогавший в непосильной борьбе с отоплением. Центральное отопление не действовало, а топить индивидуальную буржуйку сырыми петросоветскими дровами (по большей части еловыми) он не умел. Погибал от стужи. Иногда целыми днями лежал у себя на кровати в шубе, в огромных калошах и в меховой шапке, которой прикрывал стынущую лысину. Над ним по стенам и потолку, в зорях и облаках, вились, задирая ножки, упитанные амуры со стрелами и гирляндами — эта комната была некогда спальней г-жи Елисеевой. По вечерам он, не выдержав, убегал на кухню — вести нескончаемые разговоры с сожителями, а то и просто с Ефимом, бывшим слугой Елисеевых, умным и добрым человеком. Беседы, однако же, прерывались долгими паузами, и тогда в кухне слышалось только глухое, частое топотание копыт: это ходил по кафельному полу поросенок — воспитанник Ефима».[18] Шкловский — прототип «Жуканца» в повести Ольги Форш. А «Ариоста» этой повести — Мариетта Шагинян, поэтесса, прозаик, и весьма ученая женщина, автор работ о Гете — с марксоидными и «диаматными» цитатами. Недаром в Ленинграде ходила в свое время загадка: какая разница между *диаматом* и просто *матом*? «Матом — кроют, — следовало давать ответ, — а диаматом — *прикрываются*»... В романе тожество Ариосты и Мари-

---

[17] Там же, стр. 135.

[18] Владислав Ходасевич. «Дом Искусств», в его книге: Литературные статьи и воспоминания. Изд. им. Чехова, Нью-Йорк, 1954, стр. 403—404. Кстати, об этом поросенке: «Чисто в кухне, но тараканов много. Маленький свиненок ходит по кафельному полу, тихо похрюкивая. Питался он одними тараканами, но раздобрел, и его продали»(В. Шкловский. Цит. книга, стр. 127). Характерная картинка голода!

етты подчеркнуто и глухотой героини, и ссылкой на Гете. В уже цитировавшихся воспоминаниях Ходасевича о «Доме Искусств» рассказывается, что в «Сумасшедшем корабле», рядом с бывшей русской баней, превращенной в комнату Гумилева, «находилась большая, холодная комната Мариетты Шагинян, к которой почему-то зачастил старый, седобородый марксист Лев Дейч. Мариетта была глуха. С Дейчем сиживали они, тесно сдвинув два стула и накрывшись одним красным байковым одеялом. 'Я его учу символизму, а он меня—марксизму',—говорила Мариетта. Кажется, уроки Дейча оказались более действительными».[19]

«Маленький, сморщенный, похожий чем-то на высохшую остроносую птицу, один из критиков эпохи символизма, А. Л. Волынский, с клетчатым пледом на плечах, с чайником в руке и кипой рукописей под мышкой, не пропускал ни одного кухонного собрания. Необычайно витиеватой, цветистой речью, пересыпанной парадоксами и блестками несколько путаного остроумия, автор толстенных монографий о Леонардо да Винчи и Достоевском горячо защищал самые идеалистические позиции. Но с той же горячностью восхищался он 'мужеством и патриотизмом России', отбившейся на полях гражданской войны от 'низменного византизма Европы'. Незабываемое впечатление производили его стычки с Виктором Шкловским — поединок меткого топора и ловкой, увертливой шпаги. И какую благоприятную, насыщенную порохом среду создавала вокруг них туманная, путаная, но всегда полная благотворного электричества, речь Мариетты Сергеевны Шагинян, то уходящая в глубь самых неуловимых философских отвлеченностей, то сверкающая эффектными сопо-

[19] Указ. выше книга Ходасевича, стр. 412.

ставлениями свежих, наблюдательно выхваченных из жизни фактов! ...Тут же похаживал, осторожно и вкрадчиво пошлепывая мягкими туфлями, бывший критик из бывшего 'Аполлона' В. Чудовский, заумный теоретик русской просодии. ...Он был туманно велеречив и пытался уравновесить спокойствие английского сноба со злобной горячностью и запальчивостью неутомимого спорщика. Литературная революция, естественно, казалась ему большим 'беспорядком', ибо сам он был жертвой какой-то сухой и догматической благопристойности. Его остро и порою злобно ненавидел всегда мрачный и молчаливый А. С. Грин,[20] наблюдавший из угла и с иронической улыбкой следивший за кудреватыми и чрезмерно изысканными периодами этого Демосфена... 'Рыжий павлин' в своем эстетском неприятии действительности почти всегда оказывался одиноким. Тщетно пытался он искать сочувствия у своих прежних соратников по 'Аполлону'. Даже суховато-корректный и всегда вежливый с собеседником Гумилев иронически приподнимал брови и торопился миновать опасную зону спора... Терпеливыми, неразлучными свидетельницами этих словесных распрей бывали две молчаливые фигуры, усаживавшиеся тут же с домашним вязаньем на коленях: старая писательница Е. П. Леткова-Султанова,[21] помнящая еще Тургенева, — высокая, стройная, со следами былой необычайной красоты, с тонкими и по-старомодному очаровательными манерами, — и В. И. Икскуль, в прошлом известная меценатка... Обе они, одетые в черное, сдержанные и отменно учтивые, казались тенями иного мира, современницами и представительни-

---

[20] А. С. Грин описал тоже «Дом Искусств» в лучшей своей вещи — «Крысолов», давно непереиздающейся.

[21] В повести О. Форш — «прозаик Долива».

цами эпохи 'Русского Богатства', повестей Гаршина и Короленко, полемических статей Михайловского и вообще романтики русского интеллигентского либерализма. В спорах о будущих судьбах литературы их, казалось, занимал исключительно вопрос о традиционной чистоте русского языка и о верности незыблемым 'заветам человеколюбия', над чем саркастически подсмеивался их современник критик Волынский. Они одобряли утверждение Ев. Замятина о том, что 'будущее русской литературы — великое ее прошлое', утверждение, вызвавшее в нашей более юной среде горячие протесты и горестное недоумение. Нам-то, во всяком случае, не хотелось оставаться 'эпигонами'. Наследуя, мы хотели создавать и свое, новое. В необходимости этого нас горячо убеждала умная, беспощадная в спорах О. Д. Форш, чьих саркастических, порою по-мужски грубоватых замечаний побаивались самые крайние энтузиасты. У нее была счастливая возможность говорить на общем языке и с представителями 'старого мира', и с самой зеленой молодежью. Нас она привлекала не только остротой критического ума, но и прямотой и резкостью своих суждений. По природе своего дарования Ольга Дмитриевна охотнее всего обращалась к людям и идеям прошлого».[22]

---

[22] Всеволод Рождественский. Страницы прошлого. Из литературных воспоминаний. Изд. «Советский Писатель», Москва-Ленинград, 1962, стр. 193—196. Цитированные слова Евг. Ив. Замятина — из его статьи «Я боюсь», опубликованной в альманахе «Дом Искусств», 1, Петербург, 1921, где он писал, почти отпевая русскую литературу: «'Есть множество юрких авторов, постоянно следящих за злобой дня; они знают моду и окраску данного сезона; знают, когда надо надеть красный колпак и когда скинуть... В итоге они лишь развращают вкус и принижают искусство. Истинный гений творит вдумчиво и воплощает свои замыслы в бронзе, а посредственность, притаившись под эгидой свободы, похищает

Но как-раз в своем «Сумасшедшем корабле» сама Ольга Форш тоже отпела русскую культуру и русскую литературу, во всяком случае, русскую культуру и литературу великого прошлого: «В Сумасшедшем Корабле сдавался в архив истории последний период русской словесности. Впрочем, не только он, а весь старо-русский лад и быт. Точней сказать, для быстрейшей замены России четырьмя буквами С.С.С.Р. ампутировались еще не изжитые временем былые формы. И как сводка работы русской мысли и воли к жизни предстали Четверо. Они заканчивали кусок истории. Четверо — Гаэтан с 'голубым цветком' Новалиса, пересаженным в отечественный огород,

---

ее именем мимолетное торжество и срывает цветы эфемерного успеха'... А неюркие молчат. Два года тому назад пробило 'Двенадцать' Блока — и с последним, двенадцатым, ударом Блок замолчал. ...Одиноко белеют в темном вчера 'Записки Мечтателей' Алконоста. И мы слышим, как жалуется там Андрей Белый: 'Обстоятельства жизни — рвут на части; автор подчас падает под бременем работы, ему чуждой; он месяцами не имеет возможности сосредоточиться и окончить недописанную фразу. Часто за это время перед автором вставал вопрос, нужен ли он кому-нибудь, то есть нужен ли 'Петербург', 'Серебряный Голубь'? Может быть, автор нужен, как учитель 'стиховедения? Если бы это было так, автор немедленно положил бы перо и старался бы найти себе место среди чистильщиков улиц, чтобы не изнасиловать свою душу суррогатами литературной деятельности'... Да, это одна из причин молчания подлинной литературы. Писатель, который не может стать юрким, должен ходить на службу, с портфелем, если хочет жить. ... Труд художника слова, медленно и мучительно-радостно 'воплощающего свои замыслы в бронзе', и труд словоблуда... теперь расцениваются одинаково: на аршины, на листы. И перед писателем — выбор: или стать Брешко-Брешковским — или замолчать. Для писателя, для поэта настоящего — выбор ясен. Но даже и не в этом главное: голодать русские писатели привыкли. И не в бумаге дело: главная причина молчания — не хлебная и не бумажная, а гораздо тяжелее, прочнее, железней. Главное в том,

Инопланетный Гастролер, с своим 'Романом итогов' русского интеллигента, матерой мужик Микула, почти гениальный поэт, в темноте своей кондовой метафизики, берущей от тех же народных корней, что и некий фатальный мужик, тяжким задом расплющивший трон.[23] Четвертым сдавателем был Еруслан, тот, чья воля была, как у Васьки Буслаева, разукрасить нашу землю, как девушку. ...Он пришел, как рабочий и вместе интеллигент...» «Осенью двадцатого года его усилиями открыт был для нас Сумасшедший Корабль, и Дом Ученых, и многое еще...»

что настоящая литература может быть только там, где ее делают не исполнительные и благонадежные чиновники, а безумцы, отшельники, еретики, мечтатели, бунтари, скептики. А если писатель должен быть благоразумным, ... католически-правоверным, должен быть сегодня-полезным, ... — тогда нет литературы бронзовой, а есть только бумажная, газетная, которую читают сегодня и в которую завтра завертывают глиняное мыло. Пытающиеся строить в наше необычайное время новую культуру — часто обращают взоры далеко назад: к стадиону, к театру, к играм афинского демоса. Ретроспекция правильная. Но не надо забывать, что афинская *агора* — афинский народ — умел слушать не только оды: он не боялся и жестоких бичей Аристофана. А мы... где нам думать об Аристофане, когда невиннейший 'Работяга Словотеков' Горького снимается с репертуара, дабы сохранить от соблазна этого малого несмысленыша — демос российский! Я боюсь, что настоящей литературы у нас не будет, пока не перестанут смотреть на демос российский, как на ребенка, невинность которого надо оберегать. Я боюсь, что настоящей литературы у нас не будет, пока мы не излечимся от какого-то нового католицизма, который не меньше старого опасается всякого еретического слова. А если неизлечима эта болезнь — я боюсь, что у русской литературы одно только будущее: ее прошлое» (стр. 43—45). Это писал человек, как раз прокладывавший — вслед за Лесковым и Ремизовым — новые пути для русской прозы тех лет!

---

[23] Сравни у «Микулы» — Николая Клюева: «Меня Распутиным назвали» («Песнослов», Петроград, 1919, кн. 2).

О Гаэтане речь уже была. Инопланетный Гастролер — Андрей Белый: для него — «действительность», «современность, в которой мы живем, — 'эпопейна'. Действительность — героическая поэма: о многих песнях. В какую вступаем мы песнь, сочиняемой, новой, культурной поэмы? Во вторую, в четвертую? После тринадцатой лишь обнаружится всем — невероятный размах наших дней, когда будут достигнуты кряжи культуры, которые перевалить мы должны. Всё томление предвоенных годов (конец века, начало столетия) — подступы, плоскогорья, предгорья. ...Человечество — в полосе вихревой; в грозе гор; между прошлым и настоящим — бездонное; пять минут равны году предшествующего столетия; с 1914 до 1922-го прошли мы века; Коперниканское время отстало на столетия...»[24]

Россия — Ты?.. Смеюсь, и — умираю.
И — ясный взор ловлю...
Невероятная, — Тебя я знаю:
В невероятностях люблю....
...Судьбой — Собой — Ты чашу дней наполни.
И — чашу дней: испей.
Волною молний душу переполни.
Мечами глаз — добей.[25]

И — беззаветная любовь-*отдача* этой России, и сомнение: «...не является ль *'Новая Америка'* этой Россией, отдавшей свою луговую, разбойную стать иноземному колдуну..., одетому в красный жупан с искрой отсвета *'железо-плавильных'* печей. ...'Теперь твой час настал: — молись'»...[26]

---

[24] «Эпопея», вступление Андрея Белого. «Эпопея», под ред. А. Белого, Берлин, № 1, апрель 1922, стр. 7.

[25] А. Белый. России. «Эпопея», № 1, Берлин, 1922, стр. 24.

[26] А. Белый. Воспоминания о А. А. Блоке. «Эпопея», № 4, Берлин, 1923, стр. 302, 305. Сравни также стихи: «Мы, — русские»:

Оставалось только замолчать, по крайней мере, надолго предаться не творчеству, а творческой переработке воспоминаний. И — всё-таки — не у дел. Ни западный, ни русский, никому не для чего — Инопланетный Гастролер...

Микула — Николай Алексеевич Клюев. «Почти гениальный поэт, в темноте своей кондовой метафизики...». Он принял революцию, как возврат к исконной, кондовой, глубинной Руси Аввакума и Достоевского, с обожествлением *земли* — Богоматери:

Уму — республика, а сердцу — Матерь-Русь.
Пред пастью львиною от ней не отрекусь.
Пусть камнем стану я, корягою иль мхом, —
Моя слеза, мой вздох о Китеже родном,
О небе пестрядном, где звезды — комары,
Где с аспидом дитя играет у норы,
Где солнечная печь ковригами полна,
И киноварный рай дремливее челна...
...Твои сыны-волхвы — багрянородный труд
Вертепу ль Господа иль Ироду несут?
Пригрезятся ли им за яростным горном
Сад белый восковой и златобревный дом, —
Берестяный предел, где отрок Пантелей
На пролежни земли льет миро и елей...
Изведи из темницы душу мою!..
Мы взвиваем в мирах неразвеянный прах,
Угрожаем провалами мертвенных лет.
В просиявших пирах, в отплывавших мирах
Мы — летящая стая горящих комет.

(Андр. Белый. Стихи о России. Изд. «Эпоха», Берлин, 1922, стр. 50). «Гений? Бесспорно. Бессильный гений. Незадолго до смерти он сам попытался разобраться в этом противоречии...» (Илья Эренбург. Люди, годы, жизнь. «Новый Мир», 1961 кн. 9, стр. 108).

...Уму — республика, а сердцу — Китеж-град,
Где щука пестует янтарных окунят,
Где нянюшка-Судьба всхрапнула за чулком,
И покумился серп с пытливым васильком,
Где тайна, как полей синеющая таль...[27]

«И по улицам ходил чудак — в полукафтанье и низких сапожках, окал и маслил голову, оперно-истово осенял себя крестным знамением и прядями прямых гоголевских волос скрывал огромный лоб Сократа — такой умный лбище, что Ольга Форш только охала и мелко побабьи крестилась: — Кто же он? Хлыст? Мудрец? Поэт силы непомерной? Или антихристово семя?

Жил Клюев на Большой Морской — новые названия в Петербурге никак не прививались, и улицей Герцена Морскую никто не называл; жил в комнате, превращенной в северную избу: с рундуками, пола́вицами, огромным кивотом и иконами древних письмен, со старописными книгами. Читал в подлинниках Гейне и Баадера, хорошо знал Платона и Плотина, но крякал и забывал странные слова иностранные. И сквозь весь этот маскарад — не маскарад, а скорее отгораживание себя от жизни исторической улицы — искоса приглядывался, осуждающе, понимающе и проклинающе, с печалованием и приплачкой бабьей: — Отлетает, Русь, отлетает... — — —

— Было всякое. Всяко и будет. Не в прошлое гляжу, голубь, но в будущее. Думаешь, Клюев только задницу мужицкой истории целует? Нет, мы, мужики, вперед глядим. Вот, у Федорова — читал ты его, ась? — 'Город есть совокупность *небратских* состояний'. А что ужасней страш-

---

[27] Ник. Клюев. Полн. собр. сочинений. Редакция Бориса Филиппова. Том 1. Изд. им. Чехова, Нью-Йорк, 1954, стр. 396—397.

ной силы небратства, нелюбви? К братству — и из городов!»[28]

Но материализм, рассудочный и тощий, неплодоносящий, марксизм и интеллигентская безверная, безбогова догматика сожрала жизнь, сожрала народную революцию, убила самые источники живой жизни: ибо надлежит всем духом своим верить, всем сердцем своим верить, что земля — воистину Жизнь и Смысл ее, вот эта земля, не метафизическая, а производящая, пахотная и лесная, речная и луговая, что эта Земля — Мать и Богородица. И что подлинная революция — революция Духа, и она должна *воистину* преобразить землю, чтобы овцы паслись с волками, и «отрок Пантелей», святой Пантелеймон-Целитель, лечил бы не только людей и тварь земную, но и «на пролежни земли лил миро и елей». Это — утопия? Нет, это — единственный выход из тупика, в который зашло человечество. И в утопическом социализме Фурье — с его антильвами и антитиграми, в которых превратятся после революции Духа бывшие хищники, не только правда упований, но и какая-то иная, не взирая на детскую наивность формы высказывания, а, может статься, и благодаря ей.

«Никогда небо не будет так лучезарно, и земля так зелена и плодородна, как в час прозрения народного. И сойдет на русскую землю Жена, облеченная в солнце, на челе Ее начертано имя — Наука, и воскрылия одежд Ее — *Книга горящая*. И, увидя себя в свете Великой Книги, ты скажешь: 'Я не знал ни себя, ни других, я не знал, что такое Человек! Теперь я знаю'. И полюбишь ты себя во всех

---

[28] Борис Филиппов. Давнее-недавнее. В его книжке: Кочевья. Рассказы. Вашингтон, 1964, стр. 37-39. См. также его исследование — материалы к биографии: «Николай Клюев», указ. выше собр. соч. Клюева, том 1, Нью-Йорк, 1954, стр. 9—110.

народах, и будешь счастлив служить им. И медведь будет пастись вместе с телицей, и пчелиный рой поселится в бороде старца. Мед истечет из камня, и житный колос станет рощей насыщающей».[29]

Русский национальный хилиазм — и религиозный материализм Николая Федоровича Федорова — с его великой Наукой Наук — «Философией Общего Дела». Земляная силища Микулы хорошо показана у Ольги Форш.

И вот — и он отворотился от украденной рассудочными демагогами народной революции:

Наша собачка у ворот отлаяла,
Замело пургою башмачок Светланы,
А давно ли нянюшка ворожила-баяла
Поваренкой вычерпать поморья-океаны.
А давно ли Россия избою куталась, —
В подголовнике бисеры, шелка багдадские,
Кичкою кичилась, тулупом тулупилась,
Слушая акафисты да бунчуки казацкие.
Жировалось, бытилось братанам Елисеевым,
Налимьей ухой текла Молога синяя,
Не было помехи игрищам затейливым,
Саянам-сарафанам, тройкам в лунном инее.
Хороша была Настенька у купца Чапурина,
За ресницей рыбица глотала глубь глубокую,
Аль опбена, аль окýрена,
Только сгибла краса волоокая.
Налетела на хоромы преукрашены
Птица мертвая — поганый вран,
Оттого от Пинеги до Кашина
Вьюгой разоткался Настин сарафан.
У матёрой матери Мамёлфы Тимофеевны
Сказка-печень вспорота и сосцы откушены,
Люди обезлюдены, звери обеззверены...

---

[29] Н. Клюев. Огненная Грамота. «Грядущее», № 7—8, 1919, стр. 18.

Глядь, березка ранняя мерит серьги Лушины!
Глядь, за красной азбукой, мглицею потуплена,
Словно ива в озеро, празелень ресниц,
Струнным тёсом крытая и из песен рублена,
Видится хоромина в глубине страниц.
За оконцем Настенька в пяльцы душу впялила —
Вышить небывалое кровью да огнем...
Наша карнаухая у ворот отлаяла
На гаданье нянино с вещим башмачком.[30]

— Отлетает Русь, ох, отлетает...

И четвертый — «Еруслан» — Максим Горький, с которым отходила в прошлое Россия мастеровщины, русский рабочий люд старого времени, знаменитые *умельцы,* золотые руки, на *все руки,* и такие же уже прошедшие интеллигенты в социалистических косоворотках и с таким, всё-таки, светлым порывом к всеобщей справедливости и свободе...

Вот друг Горького и многих, кряжистый мужик-художник Илья Ефимович Репин. Не называя его имени, сочно рассказывает Ольга Форш, как задумали обитатели Сумасшедшего корабля потешить старика, убежавшего от когда-то дорогого его сердцу социализма в ближайшую заграницу — на свою финляндскую дачу: собрали последние средства, где-то раздобыли дорогих фруктов, добились разрешения отправить их с посланцами за советский рубеж — преподнести бедно и скучно живущему там русейшему художнику. А Репин фрукты отправил на исследование: не поверил: как бы, думал, не притравили его большевики...

Без имени фигурируют в «Сумасшедшем корабле» Ольги Форш и другие уходящие с прошлым в небытие или

---

[30] Н. Клюев. В сборн.: Ленинградский Союз Поэтов. Собрание стихотворений. Л.О.В.С.П., Ленинград, 1926, стр 20—21.

инобытие: Федор Сологуб и его жена — поэтесса и переводчица Анастасия Николаевна Чеботаревская. Ее самоубийство и жизнь поэта после нахождения трупа его молодой жены — сильные страницы повести. «Анастасия Николаевна приходилась родственницей Луначарскому (кажется, двоюродной сестрой). Весной 1921 г. Луначарский подал в Политбюро заявление о необходимости выпустить заграницу больных писателей: Сологуба и Блока. Ходатайство было поддержано Горьким. Политбюро почему-то решило Сологуба выпустить, а Блока задержать. Узнав об этом, Луначарский отправил в Политбюро чуть ли не истерическое письмо, в котором ни с того ни с сего потопил Сологуба. Аргументация его была приблизительно такова: товарищи, что же вы делаете? Я просил за Блока и Сологуба, а вы выпускаете одного Сологуба, меж тем, как Блок — поэт революции, наша гордость, . . . а Сологуб — ненавистник пролетариата, автор контрреволюционных памфлетов — и т. д. Копия этого письма, датированного, кажется, 22 июня, была прислана Горькому, который его мне и показал тогда же. Политбюро вывернуло свое решение наизнанку: Блоку дало заграничный паспорт, которым он уже не успел воспользоваться, а Сологуба задержало. Осенью, после многих стараний Горького, Сологубу всё-таки дали заграничный паспорт, потом опять отняли, потом опять дали. Вся эта история поколебала душевное равновесие Анастасии Николаевны: когда всё уже было улажено и чуть ли не назначен день отъезда, в припадке меланхолии она бросилась в Неву с Тучкова моста. Тело ее было извлечено из воды только через семь с половиной месяцев. Всё это время Сологуб еще надеялся, что, может быть, женщина, которая бросилась в Неву, была не Анастасия Николаевна. Допускал, что она где-нибудь скрывается. К обеду ставил лишний прибор, на слу-

чай если она вернется. — . . . Убедившись в гибели жены, он уже не хотел уезжать. Его почти нигде не печатали (в последние три года — вовсе нигде), но он много писал. Не в первый раз мечтой побеждал действительность, духовно торжествовал над ней»[31]

Сологуб не верил в обновление жизни, духа и культуры большевиками. Он уже в те времена видел — к какой затхлой старинке влекутся все думы и помыслы вершителей судеб России. В неопубликованной статье «Что делать?» он писал: «Я не принадлежал никогда к классу господствовавших в России и не имею никакой личной причины сожалеть о конце старого строя жизни. Но я в этот конец не верю. Не потому, что мне нравится то, что было, а просто потому, что в новинах наших старина слышится мне наша. Я поверил бы в издыхание старого мира, если бы изменилась не только форма правления, но и форма мироощущения, не только строй внешней жизни, но и строй души. А этого как раз и нет нигде и ни в ком».[32] Сологуб, автор «Мелкого беса», и в советской жизни видел те же, даже много более жуткие, черты зверскости и бесовщины:

Вот подумай и пойми:
В мире ты живешь с людьми, —
Словно в лесе, в темном лесе,
Где написан бес на бесе, —
Зверь с такими же зверьми.
Вот и дом тебе построен,
Он уютен и спокоен,
И живешь ты там с людьми,

---

[31] В. Ф. Ходасевич. Некрополь. Воспоминания. Изд. «Петрополис», Брюссель, 1939, стр. 176—178.

[32] Цитирую по статье: Глеб Струве. Три судьбы. «Новый Журнал», Нью-Йорк, кн. 17, 1947, стр. 208.

Но таятся за дверьми
Хари, годные для боен.
Человек иль злобный бес,
В душу, как в карман, залез,
Наплевал там и нагадил,
Всё испортил, всё разладил
И, хихикая, исчез.
Смрадно скучившись у двери,
Над тобой хохочут звери:
— Дождался, дурак, чудес?
Эти чище, чем с небес,
И даются всем по вере.
Дурачок, ты всем нам верь, —
Шепчет самый гнусный зверь, —
Хоть блевотину на блюде
Поднесут с поклоном люди,
Ешь и зубы им не щерь.[33]

Культура требует устойчивости, покоя, преемственности, доверия, любви к прошлому и к *мастерству*. Переносясь из голодно-холодного Петербурга 1920—1921 гг. в небольшой французский южный городок и откровенно умиляясь его бытом, Форш пишет: «Эта прикрепленность к месту при наименьшей затрате нервно-физических сил, без боли отрыва от семейного очага, это гнездовое тепло, доброжелательность улыбок всего населения, со справками о здоровье, успехах, дочерях, сыновьях, наконец, внуках, создают ту защитную атмосферу, которая, как солнце из растения, выгоняет из человека предел его силы и цвета».

А вот быт и нравы тех лет: свезли в огромные и мерзлые коллекторы-склады из культурнейших дворянских гнезд и патрицианских купеческих столичных библиотек огромные количества книг. Назначили в них работать барышень — в Книжном фонде ли, в районных ли коллек-

[33] Там же, стр. 209.

торах. Конфискованные книги навалом высыпали прямо на пол. И вот, скажем, получил союз пекарей разнарядку на книги. Является их представитель в Книжный фонд за книгами, а барышня, только и сумевшая разложить книги по алфавиту, «не утруждая свое мышление, кому-то начальственно крикнула в глубину: — Выдайте пекарям всю букву Г! — И выдали пекарям в перемешку — Гете, Гервинуса, глину, голубей и глисты».

Вот татарчата из татарской советской школы в Петербурге тех лет. Они уже сознательны и рассказывают Сохатому, одному из героев повести, «что прежние люди до революции рождались от обезьян, сейчас рабоче-крестьянские не рождаются от обезьян. И спросили с восточной вкрадчивой лаской Сохатого: — А ты как? Еще от обезьян?»

Вот потрясающие по бесстыдству и забвению традиций переименования улиц исторических городов: Владимирский проспект, с собором Владимирской Божией Матери, переименованный в проспект Нахимсона: «обыватель прибавит: с собором того же имени», — в скобках ехидничает Форш.

Но в глубине вот таких «Сумасшедших кораблей», тихих, мерзлых лабораторий, промерзших до полярной стужи ученых и писательских комнат с железными времянками-печами, названными за редкую их работу — когда-то добудешь топливо! — «буржуйками», — творилась какая-то подспудная культурная работа, старые ворчали, но учили более молодых, молодые хорохорились, но учились, искали, писали, работали, падая в обморок от голода, обмораживая руки, умирая, но не сдаваясь... И хотя — в высоком плане — культура умирала, но она еще не сдавалась, она еще мужественно искала новых путей — к новым далям устремляла изнемогших, но восторженных.

Вот Михаил Гершензон, великий труженик, замечательный ученый, литератор и литературовед, без имени проходящий через восьмую волну «Сумасшедшего корабля». И когда он умер, «на гражданской панихиде кто-то видный сказал пространную речь о машине, где есть шестерня, чьи зубцы — искусство, наука и общественная деятельность. И вот один из представителей, один из зубцов шестерни — такой-то — лежит пред нами мертвый. Но, надо надеяться, он будет скоро заменен новым зубцом, и шестерня пойдет, как ни в чем не бывало. Тогда женщина, не собиравшаяся говорить и не оратор, попросила слова. Она сказала:

— Может быть, зубья в шестерне, о которой вы говорили, очень легко заменить новыми, но человек не совсем то же, что часть машины, и в особенности — такой человек, как был покойник. И заменить его не так уж просто». И Форш прибавляет, что «оратор с зубцами сродни той девице, что, прошагнув груды книг, не утруждая себя мышлением, разрешилась начальственно: — Выдайте пекарям всю букву Г». Этот эпизод тоже не выдумка. Женщина, выступившая с протестом на похоронах Гершензона — сестра жены Сологуба, тоже переводчица и писательница, Александра Николаевна Чеботаревская. «В день похорон Гершензона (февраль 1925) было решено никаких речей не произносить. Однако, какой-то коммунист... подошел к могиле и стал говорить о том, что хотя Гершензон был 'не наш', всё же пролетариат чтит память этого пережитка буржуазной культуры. Александра Николаевна не выдержала и тут же высказала всё, что накипело у нее на душе. Когда разошлись с кладбища, она весь день не могла успокоиться. Вечером, после нервного припадка, она пошла на Большой Каменный Мост, пере-

крестилась, осенила крестным знамением Москву на все четыре стороны и бросилась с моста в полынью».[34]

А сам М. О. Гершензон, несмотря на всё свое «дневное» культурное делание, несмотря на свою приверженность к культурно-историческим традициям, подобно Блоку и Мандельштаму, Клюеву и Андрею Белому, чувствовал какие-то поддонные сдвиги, какие-то отталкивания от старой — и вообще — культуры: «. . .в глубине сознания я живу иначе. Уже много лет настойчиво и немолчно звучит мне оттуда тайный голос: не то, не то! Какая-то другая воля во мне с тоскою отвращается от культуры, от всего, что делается вокруг. Ей скучно и не нужно всё это, как борьба призраков, мятущихся в пустоте; она знает иной мир, предвидит иную жизнь, каких еще нет на земле, но которые станут и не могут не стать, потому что только в них осуществится подлинная реальность; и этот голос я сознаю голосом моего подлинного 'я'».[35]

«Из своей комнаты в кухню и обратно то и дело шмыгала маленькая старушка — М. А. Врубель, сестра художника».[36] У нее герои повести Ольги Форш — Сохатый и Жуканец (Виктор Шкловский) смотрят на закрашенное художником и ставшее пленительно-беспредметным полотно Врубеля. Сама Ольга Форш, художница по образованию, встречалась с Врубелем в киевской художественной школе, о которой в «Сумасшедшем Корабле» пове-

---

[34] В. Ф. Ходасевич. Некрополь. Воспоминания. Изд. «Петрополис», Брюссель, 1939, стр. 279.

[35] М. О. Гершензон, в книге: М. О. Гершензон и В. И. Иванов. Переписка из двух углов. Изд. «Огоньки», Москва—Берлин, 1922, стр. 70.

[36] Вл. Ходасевич. «Дом Искусств», в его книге: Литературные статьи и воспоминания. Изд. им. Чехова, Нью-Йорк, 1954, стр. 403.

ствует Сохатый, а сама Форш — в своих ранних, наиболее удачных художественно рассказах.

Владислав Ходасевич вспоминает в своем «Доме Искусств» и ее, как одну из своих тогдашних соседок: «О. Д. Форш, начавшая литературную деятельность уже в очень позднем возрасте, но с великим усердием, страстная гурманка по части всевозможных идей, которые в ней непрестанно кипели, бурлили и пузырились, как пшенная каша, которую варить она была мастерица. Идеи занимали в ее жизни то место, которое у других женщин занимают сплетни: нашептавшись 'о последнем' с Ивановым-Разумником, бежала она делиться философскими новостями к Эрбергу, от Эрберга — к Андрею Белому, от Андрея Белого — ко мне, и всё это совершенно без устали. То ссорила, то мирила она теософов с православными, православных — с сектантами, сектантов — друг с другом. В особенности любила она всякую религиозную экзотику. С упоением рассказывала об одном священнике, впоследствии примкнувшем к так называемой 'живой церкви'. — Нет, вы подумайте, батька-то наш какое коленце выкинул! Отпел панихиду по Блоку, а потом вышел на амвон, да как грохнет:

Я послал тебе черную розу в бокале
Золотого, как небо, аи!

Это с амвона-то! Вы подумайте! Ха-ха-ха, ну и прелесть!»[37]

Все насельники Сумасшедшего корабля обзавелись тоннами книг: они совались под кровати, ими заставляли подоконники, на них — в особенности на стотомном Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона — рассаживались хозяева и их посетители, читая друг другу стихи

[37] Там же, стр. 409—410.

и прозу. Литература в те годы стала недаром «сказовой»: ее читали друг другу, читали на открытых вечерах публике, читали курсантам литературных и иных курсов, ибо «литература казалась 'законсервированной', как любое из больших петроградских промышленных предприятий. Не было бумаги, не работали типографии. Книга, написанная в это время, оставалась в рукописи и ходила по рукам, в тесном кругу. Стихи, как более подвижная форма, явно преобладали над рассказом, повестью; да и по природе своей они больше соответствовали эмоциональному, патетическому тонусу эпохи».[38] И в Доме Искусств почетное место занимали студия стихотворчества, руководимая Гумилевым («Звучащая Раковина»), и студия переводческая, руководимая Лозинским и Чуковским. Но наряду с ними была и студия прозаиков, руководимая в повести Форш — Сохатым, а в Доме Искусств — Евгением Ивановичем Замятиным (который только отчасти отразился в Сохатом — единственной не документальной фигуре повести, ибо в нем — и Замятин, и Ходасевич, и сама Ольга Форш).

Была в Сумасшедшем корабле и библиотека, «которая ничем не отапливалась. Книги в ней были холодны, как железо на морозе. Однако, их было довольно много, и они были недурно подобраны, так что обитатели 'Диска'[39] порой могли наводить нужные справки, не выходя из дому».[40]

И всё-таки, несмотря на голод, холод, террор, неве-

---

[38] Вс. Рождественский. Цитир. выше книга, стр. 191.

[39] Так сокращенно назывался Дом Искусств.

[40] Вл. Ходасевич. «Дом Искусств», в его книге: Литературные статьи и воспоминания. Изд. им. Чехова, Нью-Йорк, 1954, стр. 405.

жественную и придирчивую партийную цензуру, отсутствие бумаги, — литература послереволюционной России именно тех лет, ну, скажем еще — до 1928—1930 гг. — только и интересна, только и ценна: партия еще не успела скрутить всех и вся в бараний рог «социалистического реализма».

Голод и холод заслоняли даже террор. «От Украины у меня еще остался сахар, — рассказывает «пассажир Сумасшедшего корабля» — Виктор Шкловский. — Я ел его как хлеб. Если вы не были в России с 1917 до 1921 года, вы не можете себе представить, как тело и мозг — не как интеллект, а как часть тела — может жалобно требовать сахара. Оно просит его, как женщину, оно лукавит. Как трудно донести до дому несколько кусков белого сахара. Трудно, сидя в гостях, где случайно стоит на столе сахарница, не забрать всего сахара в рот и не сгрызть его. Сахар и масло. Хлеб не так притягателен, хотя я жил года с мыслью о хлебе в уме. ...А о советской вобле когда-нибудь напишут поэмы, как о манне. Это была священная пища голодных. ...И я хотел масла и сахара всё время. ...Сколько жадности к жиру в Библии и у Гомера. Петроградские писатели и ученые поняли теперь эту жадность. ...По дому, закинув руки, ходит Осип Мандельштам. Он пишет стихи на людях. Читает строку за строкой днями. Стихи рождаются тяжелыми. Каждая строчка отдельно. ...Осип Мандельштам пасся, как овца по дому, скитался по комнатам, как Гомер. Человек он в разговоре чрезвычайно умный. ...Ахматова говорит про него, что он величайший поэт. Мандельштам истерически любит сладкое. Живя в очень трудных условиях, без сапог, в холоде, он умудрялся оставаться избалованным. Его какая-то женская распущенность и птичье легкомыслие были не лишены системы. У него настоящая повадка художника,

а художник и лжет для того, чтобы быть свободным в единственном своем деле. . .»[41]

А холод мучил не меньше, чем голод:

> Немного теплого куриного помета
> И бестолкового овечьего тепла;
> Я всё отдам за жизнь — мне так нужна забота —
> И спичка серная меня б согреть могла.[42]

Друг Блока, поэт Пяст, голодный больше других и более других мерзнувший (и паек, и топливо он отдавал семье, жившей отдельно от него, на Васильевском острове), чтобы как-то согреться, «нашел себе прибежище в помещении, совершенно притовоположном. . . по назначению. Находилось оно в том коридоре, где жили дисковские 'нотабли'. В нем было тепло, но оно было рядом с комнатою Султановой и поблизости от комнаты Волынского. Вой Пяста (он в уборной громогласно декламировал и вслух сочинял стихи, Б. Ф.) не давал спать всему коридору. Состоялся военный совет, на котором было постановлено 'помещение' запирать, а ключ класть в условное место. В первую же ночь Пяст долго туда ломился, потом понял, в чем дело, и впал в подлинное отчаяние. . . : — Окаянные! Что они со мной сделали! Одно место у меня было, одно место осталось на всей земле — отняли, заперли! О, проклятые!»[43]

«Внизу ходил, не сгибаясь в пояснице, Николай Сте-

---

[41] В. Шкловский. Цитир. выше книга, стр. 128—129, 131, 136.

[42] Осип Мандельштам. Собрание сочинений, под редакцией Г. П. Струве и Б. А. Филиппова. Изд. им. Чехова, Нью-Йорк, 1955, стр. 113.

[43] Вл. Ходасевич. Литерат. статьи и воспоминания. Изд. им. Чехова, Нью-Йорк, 1954, стр. 407—408.

панович Гумилев. У этого человека была воля, он гипнотизировал себя. Вокруг него водилась молодежь. Я не люблю его школу; но знаю, что он умел по-своему растить людей. Он запрещал своим ученикам писать про весну, говоря, что нет такого времени года. Вы представляете, какую гору слизи несет в себе массовое стихотворство. Гумилев организовывал стихотворцев. Он делал из плохих поэтов неплохих. У него был пафос мастерства и уверенность в себе мастера».[44]

Владислав Ходасевич вспоминает одно из собраний в Доме Искусств руководимого Гумилевым Цеха Поэтов, на котором принимали нового члена Цеха — молодого поэта Нельдихена, в повести Ольги Форш — Эльхена, в просторечии — Олькина. «Неофит читал свои стихи. В сущности, это были стихотворения в прозе. По-своему они были даже восхитительны: той игривой глупостью, которая в них разливалась от первой строки до последней. Тот 'я', от имени которого изъяснялся Нельдихен, являл собою образчик отборного и законченного дурака, при том — дурака счастливого, торжествующего и беспредельно самодовольного. Нельдихен читал:

Женщины, двухсполовинойаршинные куклы,
Хохочущие, бугристотелые,
Мягкогубые, прозрачноглазые, каштановолосые,
Носящие всевозможные распашонки и матовые висюльки-серьги,
Любящие мои альтоголосые проповеди и плохие хозяйки —
О, как волнуют меня такие женщины. . .

Дальше рассказывалось, что нашлась всё-таки какая-то Женька или Сонька, которой он подарил карманный фонарик, но она стала ему изменять с бухгалтером, и он, чтобы отплатить, украл у нее фонарик, когда ее не было

[44] В. Шкловский. Цитир. выше книга, стр. 137.

дома. Всё это читалось нараспев и совсем серьезно. Слушатели улыбались... Когда Нельдихен кончил, Гумилев, в качестве 'синдика', произнес приветственное слово. Прежде всего, он отметил, что глупость доныне была в загоне, поэты ею несправедливо гнушались. Однако, пора ей иметь свой голос в литературе. Глупость — такое же естественное свойство, как ум. Можно ее развивать, культивировать. ...Гумилев ...в лице Нельдихена приветствовал вступление очевидной глупости в 'Цех Поэтов'».[45]

Зачастую собрания руководимой Гумилевым молодежи — кружка поэтов и, главным образом, поэтесс «Звучащая Раковина» — заканчивались веселой игрой — ведь и самому руководителю было всего 35 лет... Нина Берберова рассказывает, например, что «во вторник, 2-го августа, за несколько часов до его (Гумилева, Б. Ф.) ареста, я в первый и в последний раз присутствовала на занятиях в его студии, 'Звучащая Раковина'. Со мной вместе, тоже в первый раз, пришел Николай Тихонов. После чтения и разбора стихов (присутствовало человек десять поэтов студии), студийцы и Гумилев играли в 'кошку-мышку'»[46]

А вскоре «...поглубже в коридорах, у входа, две трепетных женщины ловили уходящего на заседание коммуниста кавказца ... Вперебивку они шептали:

— Ах, не взяли у нас передачу...

А на завтра, хотя улицы полны были народом, они показались пустынными. ...На столбах был расклеен один,

---

[45] В. Ф. Ходасевич. Некрополь. Вопоминания. Изд. «Петрополис», Брюссель, 1939, стр. 129—131.

[46] Н. Берберова. Из петербургских воспоминаний. «Опыты», Нью-Йорк, кн. 1, 1953, стр. 164. См. также у В. Ходасевича. Литературные статьи и воспоминания. Изд. им. Чехова, Нью-Йорк, 1954, стр. 402.

приведенный уже в исполнение приговор. Имя поэта там значилось».

Даже иронический Шкловский вскрикивает от боли: «Граждане. Граждане, бросьте убивать. Уже люди не боятся смерти. Уже есть привычки и способы, как сообщать жене о смерти мужа. И ничего не изменяется, только становится еще тяжелей».[47]

«Список расстрелянных 'активных участников заговора в Петрограде' . . .содержал 61 имя. Об одном из трех лиц, возглавлявших комитет 'Петроградской Боевой Организации', бывшем офицере Юрии Павловиче Германе, было сказано, что он оказал вооруженное сопротивление при аресте на границе Финляндии и был убит. Гумилев фигурировал в списке под № 30, и о нем было сказано в этом длиннейшем официальном сообщении:

Гумилев Николай Степанович, 33 лет, б. дворянин, филолог, поэт, член коллегии 'Изд-во Всемирная Литература', беспартийный, б. офицер. Участник Петроградской Боевой Организации, активно содействовал составлению прокламации контрреволюционного содержания, обещал связать с организацией в момент восстания группу интеллигентов, которая активно примет участие в восстании, получал от организации деньги на технические надобности.

В числе расстрелянных было довольно много представителей интеллигенции (сенатор Таганцев и его 26-летняя жена, профессор и сенатор Н. И. Лазаревский, кн. К. Д. Туманов, профессор-технолог М. М. Тихвинский, геолог В. М. Козловский, скульптор кн. С. А. Ухтомский и мн. др.). Но наряду с ними и с офицерами (главным

---

[47] В. Шкловский. Цитир. выше книга, стр. 138.

образом морскими) было несколько матросов, по большей части участников кронштадтского восстания в том же году, крестьян, мещан и рабочих. ...В воспоминаниях о Гумилеве не раз цитировалась фраза из письма его к жене из тюрьмы: 'Не беспокойся обо мне. Я здоров, пишу стихи и играю в шахматы'. Упоминалось также, что в тюрьме перед смертью Гумилев читал Гомера и Евангелие. ...И Гумилев — первый в истории русской литературы большой поэт, место погребения которого даже неизвестно. Как сказала в своем стихотворении о нем Ирина Одоевцева:

И нет на его могиле
Ни холма, ни креста — ничего».[48]

Среди расстрелянных вместе с Гумилевым, как видим, был один из старейших насельников Сумасшедшего корабля — скульптор «кн. С. Ухтомский, один из хранителей Музея Александра III (нынешнего Русского Музея, Б. Ф.), немного угрюмый с виду, но обаятельный человек...»[49] А сколько еще друзей, родственников, знакомых обитателей Дома Искусств!

Кое-кому удалось вырваться заграницу: в числе их была и художница «Котихина», уехавшая за советские рубежи к влюбленному в нее художнику «Либину», писавшему ей страстные письма из Александрии, из Египта...

---

[48] Глеб Струве. Н. С. Гумилев. Жизнь и личность. В кн.: Н. Гумилев. Собрание сочинений в 4 томах, под ред. проф. Г. П. Струве и Б. А. Филиппова. Том 1, изд. В. П. Камкина, Вашингтон, 1962, стр. XL—XLII.

[49] В. Ф. Ходасевич. «Дом Искусств», в цитир. неоднократно книге, стр. 403.

Здесь форшевский иронический камуфляж проступает наиболее очевидно: В. Ф. Ходасевич, живший в Доме Искусств в комнате, «представлявшей правильный полукруг», пишет: «соседняя комната, в которой жила художница Е. В. Щекотихина (впоследствии уехавшая заграницу, здесь вышедшая замуж за И. Я. Билибина и вновь увезенная им в Советскую Россию), была совершенно круглая, без единого угла. . .»[50]

Вырвалась заграницу и поэтесса «Элан» — Анна Элькан, также написавшая воспоминания о «Доме Искусств»: «Тогда еще жил Блок, и для меня, как для многих молодых, всё было в нем. . . .Магия Блока действовала не только или не столько через стихотворную ткань, но через его личность. За каждым словом, им произнесенным, стояла его судьба, и хотелось защитить его. . . С Екатериной Павловной (Летковой-Султановой, Б. Ф.) очень дружил Ходасевич, державшийся несколько обособленно. Отдавая должное его уму, поэтическому дару (тогда вышла его

[50] Там же, стр. 408. Даже вскользь упоминаемые персонажи, такие, как матершинничающий писатель «Деркин», — у Форш имеют за собой реальные прототипы. Так, «Деркин» — полубосяк-полупоэт и критик, чрезвычайно начитанный, но спившийся, чуть ли ни чекист — Тиняков. «Этот Тиняков в 1920 году неожиданно появился в Петербурге. Он был такой же, как всегда, грязный, оборванный, небритый. Однажды он пришел в гости к писателю Г. Поговорили о том, о сем и перешли к политике. Тиняков спросил у Г., что он думает о большевиках. Тот высказал, не стесняясь, что думает. — А, вот как, — сказал Тиняков. — Ты, значит, противник рабоче-крестьянской власти! Не ожидал. Хоть мы и приятели, а должен произвести у тебя обыск. — И вытащил из кармана мандат какой-то из провинциальных ЧК. . .» (Георгий Иванов. Петербургские зимы. Изд. «Родник», Париж, 1928, стр. 106). Тиняков жил в дворовом флигеле «Дома Искусств».

книга 'Путем зерна'), его не очень любили за острословие, за 'шутки с злостью пополам', за некоторую заносчивость и нетерпимость в отношении к более молодым поэтам. В 'Доме Искусств' его называли 'Голова Адама'».[51]

Кстати, о прозрачности форшевских фамилий-перевертышей: раз в Библии пророка Иону проглотил кит, то и эпизодическую фигуру повести — главу Петроградского государственного издательства А. Ионова (кстати, в тридцатых годах репрессированного) — Форш именует Китовым. . .

«. . .Бок о бок со старшим поколением, некоторая часть которого была так или иначе связана с горьковским издательством 'Всемирная Литература', в Доме Искусств жили и мы, начинающие, молодежь, пришедшая с фронтов гражданской войны. Привыкшие к походной жизни, мы были рады и тем скромным комнатушкам, которые достались на нашу долю. . . .В небольшой комнате в два окна, где, кроме стола, двух железных кроватей и печки-буржуйки, не было другой мебели, жил я со своим недавним приятелем Н. Тихоновым, только что демобилизованным кавалеристом.[52] . . .Романтика тех невероятных, незабываемых дней владела тогда юношескими душами, жадно устремленными в будущее, — и не так уж важно, как входила

---

[51] Анна Элькан. «Дом Искусств». «Мосты», кн. 5, Мюнхен, 1960, стр. 292, 294—295.

[52] В письме одного советского поэта тех лет говорится, что Мандельштам «произнес целую речь об 'Орде' (первой книге стихов Николая Тихонова, вышедшей в те годы, Б. Ф.) Тихонова, в которой доказывал, что это 'здравия желаю акмеизм' и что писать 'крепкий ветер' так же пошло, как и 'ароматные розы'» (Н. Берберова. Из петербургских воспоминаний. «Опыты», Нью-Йорк, кн. 1, 1953, стр. 166).

она в стихи: гневным ли окликом Гулливера, потрясшим лилипутский мир, притчей ли о 'недобром сеятеле' или образами тех рождающихся на наших глазах людей, которые могли бы сказать о себе:

Жизнь учила веслом и винтовкой,
Крепким ветром, по плечам моим
Узловатой хлестала веревкой,
Чтобы стал я спокойным и ловким,
Как железные гвозди, простым».[53]

Именно в те годы написаны Тихоновым его замечательные книги «Орда» и «Брага», именно тогда написаны и эти строки:

Мы разучились нищим подавать,
Дышать над морем высотой соленой,
Встречать зарю и в лавках покупать
За медный мусор — золото лимонов.

Случайно к нам заходят корабли,
И рельсы груз проносят по привычке.
Пересчитай людей моей земли —
И сколько мертвых встанет в перекличке.

Но всем торжественно пренебрежем.
Нож сломанный в работе не годится.
Но этим черным, сломанным ножом
Разрезаны бессмертные страницы.[54]

(1921)

---

[53] Вс. Рождественский. Цитир. книга, стр. 196, 198—199. Стихи в конце цитаты — Николая Тихонова.

[54] Ник. Тихонов. Сто стихотворений. ГИХЛ, Ленинград, 1941, стр. 9.

И думается: как много дал бы нынешний многократный лауреат и литературный сановник, но переставший быть поэтом, подлинным художником, Николай Семенович Тихонов, чтобы воротить свою молодость — и свое свободное творчество в те голодные, нищие, но талантливые двадцатые-тридцатые годы!

«Коридор упирался в дверь, за которой была комната Михаила Слонимского,[55] — единственного молодого обитателя этой части 'Диска'. Здесь была постоянная толчея. В редкий день не бывали здесь — Всеволод Иванов, Михаил Зощенко, Константин Федин, Николай Никитин, безвременно погибший Лев Лунц,[56] и семнадцатилетний поклонник Т. А. Гофмана — начинающий беллетрист Веньямин Каверин. Тут была колыбель 'Серапионовых братьев', только еще мечтавших выпустить первый свой альманах. Тут происходили порою закрытые чтения, на которые в крошечную комнату набивалось человек по двадцать народу: сидели на стульях, на маленьком диване, человек шесть — на кровати хозяина, прочие — на полу. От курева нельзя было продохнуть. Сюда же в дни дисковских маскарадов и балов (их было два или три) укрывались влюбленные парочки. Богу одному ведомо, что они там делали, не смущаясь тем, что тут же, на трех стульях, не раздеваясь,

---

[55] У О. Форш — Копильский. В письме Льва Лунца к Берберовой, отмечая постоянное лежание Слонимского на кровати (о чем — у Форш), говорится: «Миша Слонимский явно стремится к окаменению. Движется минимум, спит максимум. Тоскует и слоняется Слонимский. Называется он теперь, в честь своих именитых предков, 'князь Слюняво-Слонимский'». («Опыты», Нью-Йорк, кн. 1, 1953, стр. 170).

[56] У О. Форш — «Юный Фавн».

спит Зощенко, которому больное сердце мешает ночью идти домой».[57]

Молодежь веселилась, устраивала шарады, в воздухе, голодном и холодном, всё-таки процветали всеобщая влюбленность, дружество, юная чуть печальная — с горчинкой всегда — радость. «. . .Веселье перекочевало в Дом Искусств на вторники — клуб младенцев[58] устроили. Зверски веселимся. Я превзошел самого себя. Ставлю потрясающие кино-трагедии по новому методу. Издеваюсь над присутствующими. 'Публицистический кинематограф'! Ставил трагедию 'Действительный член Дома Искусств' (про Н.), 'Памятник Мих. Слонимского' и 'Фамильные бриллианты Всеволода Иванова'».[59] Вместе с Лунцем инициатором и режиссером в этих начинаниях выступал Евгений Шварц (у Форш — Геня Черн), «впоследствии известный автор пьес-сказок для детей и взрослых», который «проявлял исключительную изобретательность и талантливое остроумие в организации разных шарад и литературных игр».[60]

Молодые «пассажиры Сумасшедшего корабля», в частности, «Серапионовы братья», не отличались в те дни приверженностью к официальной идеологии. Так, Лев Лунц, душа этого сообщества, фактически от лица всех

---

[57] В. Ходасевич. «Дом Искусств», в цитир. неоднократно книге, стр. 404—405. Зощенко — у Ольги Форш — «Гоголенко».

[58] У Форш — «недомерки» — молодые обитатели Сумасшедшего корабля.

[59] У Форш — «Фамильный бриллиант пролетарского писателя Фомы Жанова» — Всеволода Иванова. Цитир. выше письмо Лунца к Н. Берберовой. «Опыты», Нью-Йорк, кн. 1, 1953, стр. 170—171.

[60] Вс. Рождественский. Цитир. книга, стр. 215.

«серапионов», писал в 1922 году: «Мы собрались в дни революционного, в дни мощного политического напряжения. 'Кто не с нами, тот против нас!' — говорили нам справа и слева, — с кем же вы, Серапионовы братья — с коммунистами или против коммунистов, за революцию или против революции?' С кем же мы, Серапионовы братья? Мы с пустынником Серапионом... Слишком долго и мучительно правила русской литературой общественность... Мы не хотим утилитаризма. Мы пишем не для пропаганды. Искусство реально, как сама жизнь, и, как сама жизнь, оно без цели и без смысла, существует потому, что не может не существовать».[61]

Еще более откровенен Михаил Зощенко («Гоголенко» в повести): «Вообще писателем быть очень трудновато. Скажем, та же идеология... Требуется нынче от писателя идеология... Этакая, право, мне неприятность... Какая, скажите, может быть у меня 'точная идеология', если ни одна партия в целом меня не привлекает? ...С точки зрения людей партийных я беспринципный человек. Пусть. Сам же я про себя скажу: я не коммунист, не эс-эр, не монархист, а просто русский и к тому же политически безнравственный»...[62]

...Дом Искусств сумасшедшим кораблем мчался в неведомое завтра... И это завтра мыслилось его обитателями — кроме Нельдихеных, конечно, — как счастливая гавань творческой свободы и творческих — ничем не стесняемых — поисков...

И, конечно, Дом Искусств поспешили закрыть. Тот грузный человек в кепке, который — в конце повести

---

61 «Литературные Записки», 1922, № 3.

62 Там же.

Форш — разгоняет Сумасшедший корабль и передает его помещения Деловому клубу, — сатрап Северной «Петрокоммуны» — Григорий Зиновьев...[63]

И, конечно, «Сумасшедший Корабль» Ольги Форш, после журнальной публикации и отдельного издания 1931 года,[64] — больше никогда не переиздавался, не включался в собрания ее сочинений, даже самые обширные. Не говоря уже о самом содержании повести, отдельные оценки автора таковы, что выпустить повесть в ее «натуральном виде» — более, чем рисковано. Вот, к примеру, оценка французских писателей, наиболее почитаемых коммунистическими руководителями СССР: коммуниста Анри Барбюса и попутчика-коммунизана Ромен Роллана. Анри Барбюс — у Форш — «Корюс», и жена «Тюдона» (Ромен Роллана), «по виду наша шестидесятница», возмущается: «— О, я лично обижена, почему в вашем отечестве прославлен именно этот Корюс? Между нами говоря, во Франции ценят только его литературный дебют — сейчас всеми забытые стихи. А про прозу... Про его прозу с улыбкой говорят: «А, Corus — c'est bon pour les russes».

А сам «Тюдон» — Ромен Роллан — «он умен, он хитер, он немножко интриган... Во время войны он был в Швейцарии. Он антимилитарист...». При всем том — по самому тону высказываний Форш — ясно: самодовольное, признаваемое только за рубежами Франции, главным образом в СССР, ничтожество.

---

[63] В. Ходасевич. «Дом Искусств», в его книге: Литературные статьи и воспоминания. Изд. им. Чехова, Нью-Йорк, 1954, стр. 412.

[64] Ольга Форш. Сумасшедший корабль. Издательство Писателей в Ленинграде. Ленинград, 1931, 188 стр. Эта книга и переиздается нами. Издана она ничтожным тиражом — 7200 экз., — и давным давно исчезла из оборота.

Ну, конечно, восхваление идеалистов, воспевание Блока, Белого, Клюева, благоволение к формалистам — и охаивание коммунистических литературных божков — это не может послужить основанием для переиздания «Сумасшедшего Корабля»... А пародии на пролетарских поэтов, типа:

Мы Карла Маркса рабочие,
Красного Шара правительство,
Мы — созидатели-зодчие,
А религия наша — строительство...

В таких «блестках литературы и быта» вся повесть. И вся насквозь — она документальна. Даже вот эдакий помещенный в ней плакат: «Каждый гражданин имеет право быть сожженным», рекламирующий и пропагандирующий — в пику религии — крематории (при отсутствии топлива для живых) — существовал именно в этом самом виде. Этот плакат висел в ряде учреждений, и даже воспет А. Блоком:

Как всегда, были смутны чувства,
Таял снег, и Кронштадт палил.
Мы из лавки Дома Искусства
На Дворцовую площадь шли.
Вдруг среди приемной советской,
Где все могут быть сожжены,
Смех и брови, и говор светский...[65]

И, наконец, фон самого конца книги: Кронштадтское восстание. Ибо — хотя официально и толкуют о направ-

---

[65] К. Чуковский. Александр Блок. В его кн.: Современники. Портреты и этюды. Изд. «Молодая Гвардия», Москва, 1962, стр. 480—481.

ляющей руке интервентов, — но всем решительно в СССР известно, что восстали — обманутые Октябрем революционные матросы, пролетарии, крепостные рабочие...

Повесть, как только она появилась в печати, заклевали в «Литературной Газете», в журналах. Да и в самые последние годы нет-нет, да и помянут крутым словцом «Сумасшедший Корабль»: «...Упадочный, эпигонский, по отношению к худшим сторонам буржуазной культуры, антиобщественный смысл деятельности 'вождей' символизма остается вне поля зрения автора. Устанавливается мнимая преемственная связь между творчеством Гоголя и символизмом; и наконец, символизму отводится исключительная роль в формировании духовного облика, воспитания культуры чувств у нового, подрастающего поколения советских людей».[66]

Все эти нападки настолько потрясли старую уже писательницу, что она не только стала полуоправдываться-полуотрекаться от своей лучшей повести, но даже от волнения забыла, когда именно эта повесть была издана... Так, в написанной в октябре 1958 года автобиографии, она пишет о своем проживании в Доме Искусств: «своеобразный быт этого общежития, полный необыкновенных происшествий, впоследствии я описала в моей книге 'Сумасшедший Корабль', *напечатанной в 1934 году*. Я старалась в форме сжатой и острой дать характеристику

---

[66] Павел Громов. Творческий путь О. Д. Форш. В кн.: Ольга Форш. Сочинения в четырех томах. ГИХЛ, том, 1, Москва, 1956, стр. XXXI. В Большой Советской Энциклопедии, втором издании, в заметке об Ольге Форш, сказано, что она «испытала некоторое влияние символизма. В романах 'Сумасшедший Корабль' (1931) и 'Ворон' (1934) проводилась мысль о ценности культуры символизма для современности» (том 45, 1956, стр. 338).

многих современников и показать преломление лет военного коммунизма в умах интеллигенции, которая недавно стала советской. В этой книге мне хотелось закрепить весь путь и конец былого 'русского интеллигента'. 'Сумасшедший Корабль' — история быта русских литераторов первого десятилетия революции».[67]

Итак, сам автор *забыл,* что роман написан в конце 1930, а издан отдельной книгой уже в 1931 году. И больше не переиздавался. Итак, сам автор старается свести достаточно глубокую и широкую картину эпохи — с попыткой ее осмысления — к «истории быта русских литераторов» тех лет. Но история «Сумасшедшего корабля» — это история целой эпохи русской жизни и культуры, никак не укладывающейся в рамки документальных воспоминаний. Это хорошо понимал один из «воспоминателей» о нем, Владислав Ходасевич, предупреждавший в начале своего очерка «Дом Искусств»: «Рассказ мой коснется, однако, лишь внешних черт его жизни: для изображения внутренних, очень своеобразных, нужна бы иная, вероятно — беллетристическая форма».[68]

Повесть Ольги Форш — именно то, чего ждал и чего хотел Ходасевич. Превосходная картина внутренней жизни Дома Искусств. И эпохи.



Ольга Дмитриевна *Форш* (1873—1961), писавшая также под псевдонимом «А. Терек», — автор немалого числа романов, повестей, рассказов, пьес. В советской кри-

---

[67] Советские писатели. Автобиографии в двух томах. Том II, ГИХЛ, Москва, 1959, стр. 582—583. Курсив мой.

[68] Вл. Ходасевич. Литературные статьи и воспоминания. Изд. им. Чехова, Нью-Йорк, 1954, стр. 401.

тической литературе и литературоведении говорят о ней, по преимуществу, как о чуть ли не родоначальнице советского исторического романа: «Одетые камнем», «Современники», «Горячий цех», трилогия «Радищев», «Михайловский замок», «Первенцы свободы». Но романы эти — достаточно ловко написанные второсортные советские произведения, может быть, только с несколько большим проникновением в факты, костюмерию и бутафорию изображаемой эпохи. И если Ольга Форш и войдет в историю русской прозы, то этим она будет обязана именно своему «Сумасшедшему Кораблю».

По-художнически наблюдательная, близко соприкасавшаяся или достаточно хорошо знакомая с великим количеством современных ей — а прожила она длинную жизнь — прозаиков и поэтов, художников и мыслителей, редакторов и публицистов, актеров и музыкантов, — Форш умела многое узнать, многое услышать, хорошо и с толком рассказать. И когда она — временно и отчасти, хотя бы, — освобождалась от страха властей предержащих, она рассказывала интересно и ярко, захватывая жизнь широко и достаточно глубоко.

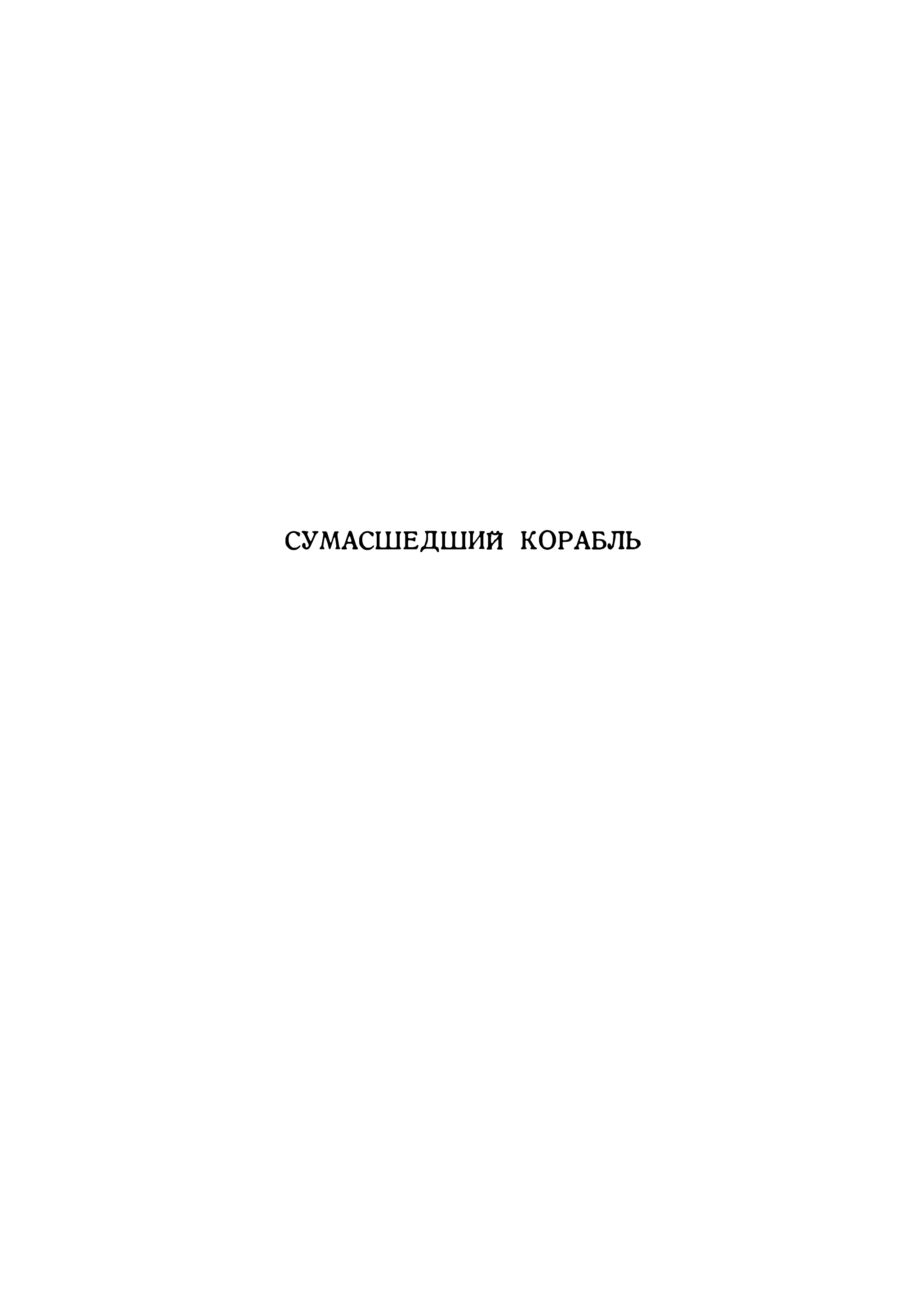
Не следует, конечно, ждать от нее художническо-историософского постижения эпохи: Форш, конечно, не Достоевский и даже не Андрей Белый — те на недосягаемой высоте по сравнению с нею, — но она всё-таки очень и очень «около» крупных явлений и фигур ее времени. И умеет в меру обобщить, в меру углубиться во внутреннюю жизнь если не своих героев, то самого своего времени. «Шум времени» она слышит — и понимает — куда он несется и что именно несет.

Кроме того, «Сумасшедший Корабль» написан настоящим языком художественной прозы, каким давно уже не

пишут подневольные ратники социал-реалистического ополчения. Каким давно уже перестала писать и сама Ольга Форш. Язык этой лучшей ее повести гибок, колоритен, краток, характеристичен.

У нас и появился соблазн — дополнить рассказ Форш большими фрагментами из воспоминаний других насельников Дома Искусств. Чтобы эта интересная эпоха русской жизни и литературы предстала перед читателем возможно более полно, усмотренная многими ее участниками и свидетелями, но — примерно — в том же охвате лиц и событий, какой в «Сумасшедшем Корабле». В этом плане пишущий эти строки и строил не свою вступительную статью — ибо эти страницы — не статья, а свои комментарии и дополнения к значительнейшему и интереснейшему произведению Ольги Форш.

Борис Филиппов



СУМАСШЕДШИЙ КОРАБЛЬ

ВОЛНА ПЕРВАЯ

Прежде чем перейти к повествованию, торопимся сделать оговорку: пусть читатель не ищет здесь личностей: личностей нет. Обладая достаточным воображением, автор бесчинствует с персонажами по рецепту гоголевской «невесты», дополняя одних другими, либо черты, чуть намеченные в подлиннике, вытягивает, ну просто, в гротеск, либо рождает целиком новых граждан. Отсюда ясно, что всякое подведение фамилий или накопление обид будет, сказать прямо — «банан».

Ставим в текст примечание. Это слово «банан» в дни военного коммунизма рождено было в детдомах исключительно невинностью детского возраста на предмет обозначения небывальщины. Слыша бахвальные отзывы старших подростков о прелести этого экзотического фрукта, почему-то в годы перед революцией наводнявшего рынок, младшие дети, оскорбленные вкусовым прищелкиванием старших счастливцев, не имея надежд на проверку, решили с досадой, что банан просто *ложь*. Стилистически вправе взять мы обратное — ложь есть *банан*.

Про этот дом говорили, что он елисаветинских времен, и чуть ли не Бирона. На всех современных фотографиях кажется, что именно от него, как от печки, идут все процессии. И редкий писатель, ткнув пальцем в то или другое окно, не скажет:

— Здесь я жил и писал мой *том первый*.

Впрочем, кроме писателей, здесь жили портные, часовых дел мастера, совслужащие и огромный штат бывшей «ерофеевской прислуги», которая по ходячей легенде, заделала куда-то в стены пресловутое «ерофеевское серебро».

В надежде найти это новое «золото Рейна», после особо экзотической получки пайка, состоящего из листов лавра и душистого перца, обитатели дома с голодным блеском в глазах бросались выстукивать коридоры.

Последнее, чем этот дом отличился, было недавнее самовольное свержение с крыши самого древнего старожила. Забытый смертью старец додумался сам двинуться ей навстречу. Он вылез чердачным ходом на крышу, но задержался, обследуя, куда ему выгоднее спрыгнуть.

Своей деловитой проволочкой старец собрал на панели толпу. Эти случайные люди оказались не без воображения. Они переживали предполагаемый полет неизвестного, топотом своих ног, телодвижением и ревом сумели выразить столько внезапного сочувствия, сколько бедный одинокий не встречал за всю свою жизнь. Словом, старец замер, как статуя над бывшим Зимним Дворцом, и уже раздумывал, точно ли стоит заносить ему за последний предел свою ногу.

И кто ж его знает, быть может он бы ноги не занес.

Отогретый сочувствием улицы, старец внедрился бы с новыми силами под чердачную лестницу, чтобы дожить

непостыдно свой век, не будь на перекрестке ретивого милицейского.

Юный службист, памятуя параграф об охране жизни граждан, стремительно выхватил свой наган и воскликнул:

— Если кинешься — застрелю!

И тотчас старик, повинуясь парадоксальным рефлексам, перемахнул через крышу, подмял под себя двух рабфаковцев, удачно стукнулся черепом о панель и умер.

До стариковской выходки или после, наверно не помню, но этот дом перекрасили. Его густо хозяйственный цвет времен Александра III перешел в цвет нежного барвинка, при белых колоннах. Дом оброс госпредприятиями и стал окончательной объективной реальностью. И трудно поверить, что лет десять назад всем, густо вселенным в комнаты, тупики, коридоры, бывшие ванны и уборные, казалось, что дом этот вовсе не дом, а откуда-то возникший и куда-то несущийся корабль.

Комнат было много, и комнаты тоже казались безумными.

Они были нарезаны по той необоснованной здравым смыслом системе, по которой дети из тонко раскатанного теста, почерневшего в их руках, нарезают печенья — квадратом, прямоугольником, перекошенным ромбом... а не то схватят крышку с гуталина и выдавят ею совершеннейший круг.

В таком кругу, среди прочих нарезков, мерзла широкоглазая художница Котихина, ученица Рериха, по внешности — индусская баядера.

Ей было холодно, в комнате минус два, и своего белоголового сына, по прозвищу Одуванчик, она послала на добычу топора, чтобы, расколов очередной подрамник, растопить им буржуйку.

Одуванчик пошел стучать в дверь к Копильскому, к Гоголенке, к поэту Эльхену, в руссификации уборщиц — просто Олькину, и басовито ворчал:

— Моя мама приказала топор!

Копильский лежал и молчал. Красивый сосед, как прозвала его Фифина, выживал вон из комнаты сердитую собачищу, побитую хозяином за сожранный ею паек. Как попала к нему — неизвестно. От непрошенных посетителей красивый сосед не только припирал, он как-то припаивал обе створки дверей так, чтоб и щелочки не было.

— Коль повадятся, они и в щелки пройдут.

У Олькина от нажима дверной ручки грохнула баррикада, и просыпались из дверей в коридор беспризорные, охально куря папиросы. За ними вслед вытянулась, как в Radierung'ах Отто Клингера бесконечная голая рука сверх-поэта и добросила беспризорное барахло.

У самой кисти руки гремучей змеей громыхнула манжета.

Для выхода в свет поэт эти манжеты вбирал в рукава пиджака, и они, возглавляемые белым окаменелым воротничком, все втроем симулировали присутствие рубашки, которой под пиджаком не водилось.

Однако, вернемся к событиям этого дня.

Художница Котихина, не получив топора, с налету села сама на подрамок, — он, крякнув, рассыпался. Котихина затопила буржуйку. Снег на окнах ожил и пополз на пол ручьями, создавая весеннюю юную радость. Котихина с сыном согрелись, и так как дело было в бывшее Рождество, то оба стали украшать тогда еще цензурную маленькую елку в цветочном горшке.

Украшения елки гражданину, не посвященному в быт Сумасшедшего Корабля, могли бы показаться не подхо-

дящими к случаю. Котихина и сын белыми нитками привязывали, одну за другой, старые телеграммы и вешали их под ветви, как, бывало, хлопушки, пробуя пальцами, хороша ли раскачка.

Превратив маленькое дерево в голову жены лешего, покрытую папильотками, Котихина зажгла на верхушке огарок и постучала в двери соседкам — прозаику Долива и поэтессе Элан.

Поэтесса пришла прямо от Блока, ее глаза не видали, она курила Сафо за Сафо и окурки совала во всё, что имело отверстия — в обеденную кастрюльку с картофельной кожурой, в дверные дырки, в говорящие рты. Поэтессу бранили, она шелестила:

— Я последняя снежная маска!

Прозаик Долива приветствовала освобождение женщины от кухни, деторождения и супружеских уз и клялась быть на страже, чтобы помочь своим сестрам нового пролетарского сознания не впасть в старое рабство.

Едва гости вошли, Одуванчик, приставив к губам гребешок с папиросной бумагой, задудел «цыпленка».

— Jacta est allea, Рубикон перейден! — воскликнула Долива, щеголяя за раз собственной памятью и перевранным Юлием Цезарем. — На вашей елке, Котихина, африканские телеграммы. Признавайтесь, вы надели цепи домашней работницы, вы художнику Либину ответили — да.

Действительно, папильотки котихинской елки были из телеграмм художника Либина. Он стосковался в Африке по снегам своей родины. Получив прейскурант достижений советского фарфора, где не однажды стояло имя Котихиной, с которой он некогда сам «ставил натуру», Либин немедленно вспыхнул рецидивом любви и запросил телеграфно и срочно согласия на брак.

Обе соседки, поэтесса и прозаик, стоя на страже пролетарского быта, убеждали Котихину не предавать женской свободы, не поощрять африканского чувства. Котихина твердо держалась, пока Либин жил в Африке, но когда он стал продвигаться из Александрии в Берлин, по пути засыпая ее телеграммами стандартного содержания — «целую и жду» — Котихина не устояла и ответила: «еду».

Соседки, поэтесса и прозаик, отступая перед фактом сдавшейся крепости, пытались продолжить хоть защиту позиций. Теперь они убеждали Котихину не учить для Либина — как она вдруг надумала — «боярские танцы», тем более не выменивать своей лучшей картины на ускользнувшую из современности гречку, атрибут русофильства, т. е. гречневую кашу.

Но Котихина до конца отдалась атавизму своей женской природы. Под визг Одуванчика: «цы-пле-нок жареный»... на зло соседкам она увенчалась кокошником и, прядая лентами, понеслась вокруг елки, прикрывавшей ветвями мешочки с крупой.

Межсоседнее расхождение в мнениях могло б окончиться скверной коллизией, если бы против котихинской комнаты не жил квалифицированный токарь Зубатый. С этим токарем жила молодая жена в зашнурованных до колен модных желтых ботинках. Казалось, и спит она в них, либо просто так, не снимая, либо отвинчивая ноги в коленях и ставя их в угол. Жену звали, как героиню Анатоля Франса — Таисией. Ею токарь гордился, ее ревновал.

Утром Таисия шла умываться к общему умывальнику при парадных дверях, где встречалась с другой очаровательницей коридора Фифиной и преднамеренно ворковала

так громко, чтобы уходящие в Госиздат Копильский и красивый сосед могли ее услыхать:

— Я прелестна мужчинам, они меня обожают. Мне особо идет сомовый абажур...

Сейчас, покрывая последний этап жизни «цыпленка», из двери Таисии в дверь Котихиной ворвался изумительный вопль:

— Не топчи меня, не топчи ногами!..

— Избиение! — сказали в ужасе женщины.

Поэтесса Элан, выкатив круглые невидящие глаза, дошептала:

— Она на полу... Он ей топчет живот! Ну, конечно — первенец от любимого...

И все вместе:

— Скорей на защиту!

В коридоре перед комнатой Зубатого стоял целый хвост из жильцов. Они комментировали вопль Таисии и смеялись.

— Выродженцы! — им бросили женщины.

— Я не выйду за Либина, — простонала Котихина.

— Ура! Сварим гречневой каши, — свожделел Одуванчик.

— Не топчи! Не топчи меня ногами!.. — угрожающе, как мог бы кричать лишь намеренно гибнущий, увлекая за собою врага, хлестал уши пронзительный выкрик Таисии.

Коллективом женщины навалились на ручку, наперли на дверь, ворвались.

С разбега Котихина оказалась посреди комнаты перед Зубатым.

В высоких сапогах, выбритый, аккуратный Зубатый, стиснув челюсти до игры желваков, рвал в мелкие клочья какую-то фотографию. Из клочьев под его ногами выросла уже целая куча пушистого снега, и он автоматически наступал на нее то носком одного сапога, то другого.

Одновременно Таисия, усевшись в углу на диване под сомовым абажуром, перейдя в непрерывку, истошно кричала:

— Не топчи!.. Не топчи!.. Не топчи!..

Не успев осознать экспозицию быта, прорвалась и поэтесса, в накопившемся пафосе:

— В дни революции... топтать женщину!..

Квалифицированный токарь Зубатый чуть отвел поэтессу рукой и с достоинством произнес:

— Извиняюсь, гражданка, я только ейный фотографический кабинетный портрет.

. . . .

Смеялись мужчины, а женщины в конфузе разбрелись по углам, и каждая вновь растопила буржуйку.

У Котихиной топора всё еще не было. Она утомилась садиться сама на подрамок, и теперь с размаху хлопался на него Одуванчик. Но по сочувствию крякали оба.

Прозаик Долива варила похлебку, а сын ее на велосипеде вокруг самого себя делал круги. Когда в гости к нему пришел другой недомерок, оба встали на головы и пошли на руках. Так как время от времени они тяжко падали на паркет, то поднялся снизу дворник и грозно сказал:

— Ваша комната обратно записана на штрафной, потому как в жилых помещениях колка дров воспрещается.

Детской затее хождения на руках дворник не внял и, в предубеждении, удалился. Недомерки кинулись прямо в уборную проверять свою драгоценность — обструкцию. Правдами и неправдами добыв зловонного содержания пробирку от химика, они ее тайно хранили до срока, чтобы перед тем как им уходить в беспризорные, с шиком кокнуть ее в этаже коменданта.

Из-за этой обструкции, просочившей заразу на весь коридор, хозяйки, шмыгнув носом, немедленно кинулись драть ни в чем неповинных котов. Разведя мяуканье в коридоре, хозяйки залегли на покой.

Отмяукали наконец и коты, и писатели, восхищенные тишиной, водрузив для тепла возле самой чернильницы керосинку, сели писать.

Увы, союз с музами был преждевременен. Трубач Евмей Павлович, отработав на трубе в часы службы, уже для себя самого снял со стены инструмент исключительно личных услад — мандолину.

Пронзая звуками стены, он задренькал зумзумливо, как сотня комариков, в каждое ухо:

Ночной зефир струит эфир...

Наискось Сумасшедшего Корабля было кафе «Варшавянка». Вспыхнули там пленительно две белых луны, и две панны стали поить кофеем по-варшавски нэпманов, укрывших до времени свое состояние.

Здесь уместна оговорка автора по адресу критиков, лютых в делах хронологии. Автор предполагает «взрывать пограничные столбы времени» и протекать мысленно в настоящем, прошедшем и будущем, связывая события лишь одной перекличкой персонажей и субъективной адэкватностью ощущений. Ну словом, по капризу совер-

шать перенос «вечного возвращения» в простецкие дни недели.

Петроград—Ленинград здесь порой будет воспринят, вообразите, Италией, и не только из-за пристрастия автора к парадоксу или вследствие навыков упраздненного символизма, а просто лишь потому, что по странной случайности автор пребывал в «Торкватовой стране» не как люди, под непременным пламенем солнца, а под семенящим дождем, вроде нашего, отчего в промокшей его голове произошел легкий географический ляпсус.

Сейчас, впрочем, перенос в вечный город произойдет по причине наипростейшей: реставрация Сумасшедшего Корабля вызвала к жизни двух панн из кафе «Варшавянка». А панны зажгли электричество в двух молочно-матовых лунах. . .

Да, эти панны, звонкозубые, ясноглазые, обладали не модными, но роскошными формами и прической с начесом на самые брови. Они упрямо выпекали и в голодные годы сдобные варшавские баумкухены и непостижимо тающие во рту пирожки.

Покупатель войдет, они ясноглазо оглянут, вскинут начесы, прозвонят в унисон:

— З чем вам? З варэнем? З орэхем?

И с уничтожающей экспрессией, отмечающей ранги и классы, если бедняк долго рылся в своем портмонешке:

— Певне, вам з макем? . .

Эти панны исчезли и почти незамедлительно после скандала с Сохатым, — о нем в своем месте, — сейчас же принудительно требует память, одержимая образом пленительно вспыхнувших молочно-белых лун, короткого набега в тот недавний от настоящего год, когда в «Новостях» эмигрантских, по поводу пребывания за границей

трех-четырех писателей, иронически возвещен был «съезд советский».

Тогда, выступая для своих торг- и полпред-служащих, в Саль-де-Жеографи, по причине ложных слухов, что эмиграция придет делать срыв, из чувства товарищества писатели советские вышли всем скопом.

Однако, чтение обошлось бесскандально. И Париж писателями был проштудирован. Дальнейшие впечатления у кого пошли в Чехии, у кого в Риме.

Мы лично въехали в Рим на авто. До этого долго неслись по узким дорогам среди апельсиновых плантаций, с обилием размноженных оранжевых «солнц на ветвях». Метафора заимствована у поэта, тем же, кому она «Викторина», поясняем, что речь идет об особом урожае чудесных по вкусу и виду апельсинов.

За рощами, как водится, были и лиловые горы, и необычная радуга. На двух крепких столбах она сияла долго и твердо, не смазывая ни одного из семи лучей спектра. Под этой радугой, как под какой-то аркой истории, в отдалении шли народы, вздымая золотистую пыль. Народы приблизились — претесное стадо баранов. Пастухи, как жрецы, новорожденных держали за задние ноги вниз головой. Новорожденные, прядая, блеяли: бэ-э-э. . .

Еще капризней отметились в памяти на золоте неба большие и черные крыши домов. Они почему-то поставлены были прямехонько на землю. Оказалось, они вовсе не крыши, а после трепки конопли сбитая плотно труха. Что город — то норов. Потом, как водится в описаниях Италии, плавал белый туман, а в нем плавали «зонтики пиний».

Глаза еще утомляла яркость заката, еще горели мелкие стекла пригородных домов с окошками андерсенов-

ских сказок, увитыми розами и плющем, еще качались на высоких колесах римские повозки с ярким зонтом — цветком над боченком вина — как небо сразу вдруг наполнила тьма, а впереди электричество залило город. Сон ли, прорыв ли, как в рассказе Уэльса, нечаянным поворотом руля в какое-то новое измерение...

Оттого, что мы приехали необычно — не по железной дороге, без всяких вводящих в новую обстановку переходов и встреч, без крика носильщиков, без восклицаний знакомых, — не получилось никакой постепенности включения в новую среду.

Авто наш примчался откуда-то и куда-то, и воскресло, как в пребывании на Сумасшедшем Корабле, то приятное чувство непрочности и обострения восприятий. Мы на новой планете, под новым, нам неизвестным законом...

Вот Корсо, колонна Траяна с окопом вокруг. Там мяукают кошки. С фонарями старушки разбирают своих, а оставшихся кормят. За мостом через Тибр — башня Ангела, и, как рыжее чудовище, переболевшее оспой, Диоклетиановы древние бани. По картинкам знакомые римские здания среди настроенных новых домов, как и мы, втиснуты в неизвестность. Закружили среди башен, фонтанов, церквей, и вдруг сотрясли взрывом пьяцету, вдруг стали. У нас лопнула шина. Мы вышли.

В громадном бассейне трубили водою дельфины, дробились с рокотом струи, огни соседних остерий тонули и не могли потонуть. В глубине водоема видны были сольди, которые, по ритуалу, набросали за день иностранцы, чтобы еще раз им вернуться в Рим. Взад-вперед брели парочкой, как влюбленные, два полисмена в белых перчатках, блестя черными ремешками касок на крутых подбородках. Офицеры, короткие, большеголовые, с сплошным римским профилем, приглашали двух женщин на

ужин. Под молочно-лунным электрическим шаром женщины обернулись. Вот вскинут начесы, вот спросят:

— Вам з чем? З орэхем? З варэнем?

— Ну, конечно, они — ясноглазые, звонкозубые панны.

Панны были те, но и вовсе иные. Быть может, панны были просто голодные. Они под руку с офицерами, а мы вслед за ними, спустились в полуподвальный погребок.

Там от самого пола и до верху бежали полки вдоль стен, и на них склад бутылок. Разноцветно искрились электричеством донышки, как средневековые витро. Гуськом сошли с лестницы музыканты. Скрипач держался за тучного молодого Нерона. Нерон начал петь под игру старика, сам играя глазами и золотыми зубами. На высоких нотах, он плотоядно подрагивал телом, будто объедался звуками.

На дне подвальчика за столиками были приметны оливковый, с желтым белком бразильянец и жеманный, напоминающий нечистоплотного селезня юноша. При особо наглых куплетах Нерона бразильянец щипал юношу за ухо. За ними в глубине сидели наши бывшие панны с двумя кавалерами, они изучали меню. Один офицер через плечо спросил что-то у панн и было похоже по тону, каким прибеднившись ответили сразу обе, ну точь-в-точь как, бывало, отвечал им самим их непривилегированный посетитель в кафе «Варшавянка» — нам хотя бы з макэм!

Да, панны были голодные. Бедные панны зарабатывали свой ужин.

Но эта обличившая их судьбу римская встреча была, как уже сказано, много позднее. Сейчас же, через улицу, наискось Сумасшедшего Корабля, пленительно вспыхнули две луны, и панны стали поить кофеем по-варшавски

последних нэпманов, утаивших свое состояние. Туда же, окончив петь свой «Зефир», сейчас пойдет трубач Евмей Павлович, туда же, пересчитав свои скудные сбережения, направит свой растерянный шаг влюбленный в одну из панн — панну Ванду — педагог-бытовик Сохатый.

Бедные писатели второй раз вздохнут, наконец предвкушая с угомонившейся мандолиной восторги безмолвия, и философ Давыд, отведя в угол стола все испанские матерьялы, разрешит себе выпить чайник морковного чая. В этот поздний час писатели пересядут на свои чуть теплые буржуйки, к себе притянут столики и блаженствуя отдадутся каждый роду своего сумасшествия. Увы, увы — и на этот раз, всего через миг, обманное безмолвие коридоров будет разорвано криком Фифиной. Она, как обычно, пробежит в этот час из одного конца в другой и вскричит с ужаснейшей провокацией:

— Мужчины все подлецы! Мужчины все щипчики!..

За Фифиной простучат сапоги. Под стук сапог кто-то рявкнет как вепрь:

— Не строй из себя хри-зан-те-му!

Читатель, — всё в порядке. Вечное возвращение из дурной бесконечности внедрилось в простецкие дни недели.

ВОЛНА ВТОРАЯ

В это утро комендант дома, сопровождаемый дворником, просунули оба, один за другим, головы в каждую комнату, населенную писателем, и сказали в октаву — комендант толстым голосом, дворник тонким:

— Довольно, попользовалась интеллигенция. Пусть пользуется пролетариат.

Чем именно попользовалась интеллигенция, они не разъяснили, но все знали, что мебелью.

Гнутая, карельской березы, красного дерева, разнообразнейших калибров, почти вся с ободранным верхом, пошедшим на самоприкрытие, мебель в обилии наполняла литературные комнаты. Угроза конфискации была уже не раз, но сегодня оказалась решающей.

Непосредственно за отбывшей к себе головой коменданта вошли здоровые мужики с лесного склада и с такой поспешностью выгребли дотла обстановку, что писателям, склонным к ассоциациям литературным, даже в свой последний смертный час, показалось, будто мебель, как в известном рассказе Мопассана, сама пешком убежала из комнат.

Самые хозяйственные догадались заблаговременно реквизировать канифасовые чехлы с умчавшихся диванов и сейчас, на зависть недогадливым, прикидывали, что именно можно будет из них спортачить.

Перед писателями предстала сплошная пустыня паркетов, на которой им оставалось сидеть на одних собственных средствах. К протесту охоты не было. К тому же не знали, кому и куда надлежит заявлять. Новый быт, как когда-то вся наша планета, охлаждаясь из огненной плавки фронтов, дифференцировался постепенно, и еще нельзя было твердо сказать, где пределы возможностей учреждений.

Границы полномочий были тогда — если здесь приличен атрибут божественный — безграничны. Например, Госиздат — учреждение сугубо штатское — внезапно мог, как былой земский начальник или военно-полевой суд, объединить функции судебные и исполнительные, притом совершенно не по своему союзу рабпроса.

Однако в тот день невольного превращения писателей в пустынножителей старинная иррациональность власти явилась истинной радостью. И благословен был товарищ Китов за «натиск и быстроту» не по ведомству.

Опустошенные писатели, покорившись без борьбы, уже было наладились, как они будут спать на многотомнейших классиках, обедать за энциклопедией или сидеть на современниках с автографом.

Каждый писатель, кроме пайкового мешка, который нес сам, ввозил обязательно в свое обиталище на спине беспризорника или «рикши» из последних тенишевских гимназистов несметную кучу книг. Едва попав в угол или к писателю под постель, книги множились, вроде как почкованием, — обитатель Сумасшедшего Корабля обрастал не бытом, а книгами.

Сейчас, едва у каждого под собой оказалось собрание чьих-нибудь сочинений, пронеслась весть, что идет «любимец публики» Геня Чорн с своей труппой. Превалирование воображения над прочим умственным багажом было в голодные годы спасительно. Геня Чорн — импровизатор-конферансье, обладавший даром легендарного Крысолова, который, как известно, возымел такую власть над ребятами, что, дудя на легонькой дудочке, вывел весь их мелкий народ из немецкого города заодно с крысами, — Геня Чорн сорганизовал недомерков мужского и женского пола из всех кают Сумасшедшего Корабля. Сейчас он вознес римский свой профиль и скомандовал:

— Встреча флотов Антония и египетской Клеопатры. За отстутствием кораблей и подходящих героев действие будет представлено одним первым планом — игрой восхищенных дельфинов. Дельфины, резвитесь!

Геня Чорн одним профилем возбуждал честолюбие труппы. Дельфины-недомерки, чтобы перенырнуть друг друга, в кровь разбили носы. Пострадавших восхищающий Чорн вывел перед всеми и сочувственно возгласил:

— Почтим плеском ладоней героев труда!

Затем перешли к гвоздю труппы — «Посадка в Ноев ковчег и коллективное построение слона».

Менее доверчивый к божьему промыслу, чем праотец Ной, Геня Чорн заявил, что в ковчег сажать будет не «пары чистых с нечистыми», как до революции было принято, а созвучней эпохе, — для защиты ковчега, в него первыми сядут войска.

Сам ковчег объявлен был невидимкой, как приставший к пристани на реке Карповке у Дома Литераторов, — но парад погружаемых войск был вострублен.

Протопала тяжко пехота, резвей — кавалерия и, на-

конец, несколько непристойно подчеркнувшая свой род оружия артиллерия. Публика развеселилась и, сидя на «Энциклопедическом», как на былом мягком, писатели ждали, как дети, каким образом Геня Чорн введет нерассыпанным в узкие двери уже громко трубившее хоботом коллективное построение слона.

Однако, в тот бурный день показательной этой посадки писателям не пришлось увидать. Потому что, как бомба, внеслась чудесная, неистовая Ариоста «спасать положение».

Ариоста, страшно умная, была рождена самим Гете в период восточных его увлечений и воспетых «диванов». Едва услыхав о событии с выездом мебели, она, не разобрав виновных, по своему темпераменту трибуна, наскочила бранить пострадавших.

— Отсутствие инициативы... пережитки Чехова... По эмпириокритицизму... По второй части Фауста...

Словом, Ариоста, пользуясь некоторой тугостью уха, как преимуществом, ей создававшим иммунитет от всяких внешних воздействий, всем извергла на головы свое трансцендентное возмущение происшедшим.

Однако, в свою очередь, она потерпела контр-нападение пострадавших и когда разобрала, в чем дело — Ариоста, будучи отличным товарищем, налилась новым азартом для защиты писателей и без ясной логики, но с оправданной интуицией, понеслась по линии всем привычных профессиональных рефлексов — сдачи рукописей и получки авансов. Короче говоря, неистовая Ариоста своим красноречием обрушилась в *Госиздат*.

Не дав опомниться самому... самому товарищу Китову, Ариоста примчала его, судя по скорости, вроде как на самолете, в Сумасшедший Корабль.

И вот, подобно Ариосте, без должной логики, оружием характера, как уже сказано, не военного, а всецело от «мозга страны» — товарищ Китов, ведавший исключительно книги, возвратил мебель бывшего дома Ерофеевых «в первобытное состояние», — так писалось в рапортах царских времен о солдатах, после службы внедренных на родину.

Разгорячившись, товарищ Китов подкидывал вверх пушистою головою и кричал на похитителя мебели:

— Где это видано? . . Где это? . .

Заикался превысивший власть комендант:

— Занумерована. . . внесена в книги. . .

— Где это? . . Где это? . .

И приставив кулак к левому уху, услышала Ариоста, вместо «где это»? — «Ге-те». На лице ее проступила блаженство, она проникновенно сказала:

— Вспомнил Гете, значит — всё хорошо.

И действительно, после последнего вскрика товарища Китова: «Мебель вернуть!» — похититель стал меньше ростом и дал клятву: «Незамедлительно».

Товарищ Китов круто перевернулся, пропушистел поднятою головой и исчез, как явился.

А вечером пустынножители с восхищением созерцали, как двери их комнат распахнуты в коридор были настежь, и в каждую комнату, скрывая под своей громоздкостью фигуры людей, опять пешком, как ушли, вошли вещи.

Кружилась голова. Из-за мебельной эскапады прохватил всех сквозняк, и к ночи сделался жар. И приятен был холод круглой комнаты, перешедшей к автору после Котихиной, на зов любви уехавшей всё-таки в Африку.

При царе жил здесь китайский посланник. У него было в этом алькове, где тайно свалены ныне дрова, — то ли

китайские пытки, то ли китайские утехи любви. Один из недомерков нарисовал на плафоне знаки зодиака. При температуре даже не сорок, если глазами уткнуться в созвездие Рака, оно тихо двинется с места, а вслед за ним и вся комната вообразит себя вдруг отдельной планетой и станет плавно кружиться. Вылущится полегоньку из стен Сумасшедшего Корабля, сорвется, пронесется по Мойке, взмоет высоко, чтобы не задеть ей домов, и ухнет в Неву. Качаясь на водах, как круглая банная шайка, попавшая в громадный бассейн, комната выйдет вместе с волнами в залив, обогнет морду «собаки» и мимо Бельгии и Германии...

Дальше за комнату отвечать не могу. Передо мной Рю-де-Гренель и обычный полпредовский прием. На улице переодетые французские шпики и полиция явная стерегут от своих и от наших.

Особняк, старый посольский, лестница в мягких коврах, лакеи вверху, лакеи внизу. Верхние, с золотообрезным карнэ, — в него вписывают поочередно фамилии, и, как в опере, анонсируют. И, повинуясь парадному ритму лестниц и декламации анонса, будь хоть стопроцентный коммунист, как Вайян-Кутюрье, как наши торг- и полпредские, — все без исключения проходят пространство от двери к колоннам не обычной своей походкой, а, как лошади в цирке, — гарцуя.

Так порой лишь одно наблюдение походок привести может к признанию целесообразности перестройки старого быта. Отсюда все преимущества познания опытного над познанием теоретическим.

Однако прием был в разгаре. Диваны и кресла вокруг круглого столика с прекрасно одетой и милой «madame la polprède» полны были дамского щебета. Фраки же, пиджаки и толстовки разбились кучками от одних широ-

ких окон до других. С аристократической простотой дипломата их все обходил особо любимый французами наш умный полпред.

В женском кругу и феминистки и журналистки, но больше всего просто жены своих знаменитых мужей.

Ну словом, «*сама*» и «*жена*».

Не имея склонности к плагиату, возвращаем немедленно авторство этих слов по принадлежности. Слова эти не что иное, как реставрация плохой «вечной женственности» в новом быту. Они — порождение советских курортов. Многопудовые больные, идя в «грязь» за заслуги мужей, на вопрос, от какой они организации, отвечают, себя обожая: «Я — жена». Они же с иерархическим высокомерием бросают по адресу трудовых элементов, попавших по праву личному: «Это — сама».

«*Сама*» и «*жена*» — не весь ли женский вопрос в двух словах?

На приеме у полпреда был редкий сорт совместительниц. Так, мадам Тюдон, автор и переводчица, по виду наша шестидесятница, в старинных перчатках-митенках без пальцев, для наглядной демонстрации притащила из кучки мужчин своего сухопарого друга, похожего на старую англичанку.

— Ну, разве можно сказать, что ему уже семьдесят пять? Он умен, он хитер, он немножко интриган и, уверяю вас, крепок, как молодой тростник. Ну, иди, Тюдон, интригуй. О, его прошлое изумительно... — Жена торопилась, словно муж был товар, который во что бы то ни стало ей надо сейчас здесь продать. — Во время войны он был в Швейцарии. Он антимилитарист... Он сейчас пишет книгу о вашем Союзе. Уверяю вас, он гораздо значительнее Корюса. О, я лично обижена, почему в вашем отече-

стве прославлен именно этот Корюс? Между нами говоря, во Франции ценят только его литературный дебют — сейчас всеми забытые стихи. А про прозу. . . Про его прозу с улыбкой говорят: A, Corus—s'est bon pour les russes.

В кучке писателей выделялся Копэн, — короткий, коренастый, ярких цветов, чертоват. И не только из-за волос, начесанных, как у провинциального Мефистофеля, закорючками на виски, а всей своею коварной повадкой. Сказать, — французский Ставрогин перед тем, как ему взять за нос губернатора и провести через зал. Бирюзово ярок глаз, улыбка фавна — иронична и ослепительна от множества ярко белых зубов. Он улыбается нарочито вдруг, совсем будто щелкун, перед тем, как ему кракнуть орех. И всё кажется в нем озорно, всё со зла. Человек с таким лицом, если не уходит в очень организованную работу, непременно сходит с ума.

Отдаленно сходство с Блоком по светлоглазой жестокости, но этот — злой, умственно острей, неблагополучней и меньше поэт.

Рядом провинциальный Вальбель со своим style coulant. Обволакивает речь, если не медом, то каким-то полезно-пресным тестом. Про него намедни пресмешно написал в газете какой-то хвалитель: «Эти зрачки доброго хирурга смотрят сквозь очки терпеливо и с решимостью быть очень хорошим человеком».

Оказывается, для французов подобное совсем не смешно, и сам Вальбель в предисловии к своей книге довел до сведения читателя о том, какие нескромные, но добродетельные мысли посетили его в день собственного сорокалетия:

«Я перебрал все способы завершения человеческой личности и остановился. . . на святости».

Вальбель топит собеседника в своей глуховатой, усыпительной, как качка в старом рыдване, речи, пересыпанной отступлениями с «открыванием Америк», вроде — «гуманность, знаете ли, прежде всего», или — «в отношениях между людьми хороша искренность». Скажет, как учитель жизни, и глянет — сквозь очки, как хирург.

Когда он делал турнэ по Союзу, он у нас в Ленинграде был как-то умнее и проще. Обедая в небольшом кругу писателей, с понятным усердием напирал на редкий у них caviar, а с водкой, чтоб не выпить лишнее, превесело маневрировал, укрывая за графинами рюмки полные и опрокидывая себе в рот пустые. Даже на поэта Озорного смотрел без всякой позы, отечески сочувствуя его намерению, от которого юношу едва удержали друзья, стать вопреки здравому смыслу на голову и, только подняв ноги вверх, угостить французских гостей звучанием собственных рифм.

Кой-кому на приеме французы предложили билеты на посещение торжественного заседания в Сорбонне по случаю rentrée de l'Académie — открытия зимнего сезона наук.

На коричневом толстом билете стояло: «Церемония будет иметь место в большом амфитеатре. Во время торжественного заседания диплом и знаки титула honoris causa будут вручены... тут следовало поименное перечисление десятка профессоров медфакультета от Копенгагена до Колумбии.

Вот он, этот коричневый билет с латинскими почетными званиями. Один взгляд на него вызывает заседание в том здании, перед которым в узком проулке сидит мраморный Огюст Конт.

От древних времен в Сорбонне уцелела одна Шапель XIII века с реставрацией в XVII на средства герцога Ри-

шелье — того самого, которого все одесситы почитают «своим». Этот герцог в Одессе стоит на бульваре, как символ весенних свиданий; к нему же, вместо чорта, отсылают друг друга торговки: — «А ну тебя к дюку...».

Да, этот дюк зараз деятель наш и французский. Он не «захоронен», а только похоронен здесь, и прескромно. Но самая великолепная гробница принадлежит не ему, а его предку — еще знаменитейшему, чем он — кардиналу Ришелье. Это к сведению тех русских, которые неудержимо радуются, перебивая гида при одном звуке одесского имени. Они полагают, что именем Ришелье облечены были не два, а одно и то же лицо, притом при Александре I бывшее в Одессе губернатором, а при Людовике XIII во Франции кардиналом. Великолепная гробница, в Шапель Сорбонны, подчеркиваем, не дюка, а предка дюкова кардинала — претонкая скульптурная группа, где изнемогшего от трудов Ришелье поддерживают две прекрасные женщины — наука и религия. Стиль помпезный и страшный — «стиль иезуитов». Вспомнился наш Эрмитаж и там Зурбаран с тяжким бархатом золотом шитых одежд, с орудиями пыток и демонской святостью испанцев.

После Шапель вошли в залу Сорбонны. Великолепие люстр, амфитеатр наряднейших дам. Точка-в-точку, в назначенный час ударила Марсельеза. Здесь она звучит веселее и легче, чем у нас, под нее можно тут пойти в пляс.

В средневековых робах и шляпах разнообразных цветов вошли академики факультетов. Как хихикнули бы у нас, при виде знакомых, лысеньких и с брюшком, без улыбки шуршащих необычайной парчей. Здесь — одна гордость, одно умиление.

— Вон наш папá в зеленой опушке...

— Все юристы с лиловым, вон наш . . .

Ректор Сорбонны, в окружении средневековья, выдавал дипломы другим старичкам, пока еще простым фрачникам. Но с дипломом в руках старички уже подлежали и шляпе и робе. Их, как архиереев, тут же облекали, торжественно и публично, соответственно рангу.

Новоодаренным аплодировали, им играли туш. Они, прослезившись от умиления и старости, накланявшись во все стороны, прошествовали на места, приложив по платочку к глазам.

У русских было смущение от невинности европейцев, совершенно невообразимой для насмешливости нашей природы, к тому же приперченной достоевщинкой. У нас, даже в интимной беседе, едва распустят чувство, как, гляди, уж прикроются наплевательством, которого, может, в таком количестве вовсе и нет. Но, всё-таки, чтобы расслабеть столь публично, в средневековой робе и шляпе, под туш медных труб? Однако, мы не возьмемся так уж просто сказать — *перерост* ли именно у нас в этой области чувств или, напротив, от зашибленности историей, *недорост*.

Автору вдруг неловко за им выбранный метод изложения по принципу ассоциаций. Он боится, чтобы как в «дедке за репку», не впасть в дурную бесконечность. Но что поделаешь, если с заседанием в Сорбонне аукается и торжественный вечер десятилетия революции, устроенпый на Рю-Кадэ, в зале масонского Grand Orient.

Французский историк, в семье которого пришлось в этот день отобедать, посылал нас спозаранку, то-и-дело смотря на часы.

— Только не опоздайте! Я знаю — русские способны опоздать на целых *десять минут*. Я раз был на званом

обеде с русским, он заставил себя ждать и даже... даже не был в отчаянии, что опоздал.

Нет, мы не уронили отечества, мы не сказали, что если на пригласительном билете — начало в восемь, это значит, что надо быть только в девять. Мы с наружным доверием ушли во-время, как хотелось французу. Он нас провожал, волнуясь отечески:

— У вас сегодня день события, в истории не бывавшего. Это не подстать коронованию в робы копенгагенских медиков, которые коронуются, сколько им влезет. Но вы верно отметили, что у нас и это обычное ежегодное торжество открылось в назначенный миг... Не опоздайте же!

Да, из патриотизма мы пришли только на полчаса позже.

В зале была пустота. Высоко с помоста, намного больше натуры, привычно щурился портрет Ильича. Люди без пиджаков, еще вполне буднично, вешали по стенам алые драпировки. Народ привалил сразу и вдруг, и, как водится, вдвое больше, чем было мест.

Среди всех промелькнул ярко один — невысок, белоглаз, сабельный шрам на лице. Подсознательно екнуло и, предупреждая об опасности, дернулось лишний раз сердце. Что-то всплыло на миг. Нет, не вспомнилось...

Докладчики были с чувством, но в речи не опытны. Их сменили певцы. Из любезности к французам русские спели по-французски народные русские песни.

В антракте, пока все еще сидели, опять прошествовал по проходу тот — особенный, с сабельным шрамом через всё лицо. И вправду ли, нет ли, но зашептали ряды его имя, то самое, при звуке которого на большой киевской площади врассыпную шарахались кони, бросали люди то-

вар, а перéкупки, укрывшись в подвалах, аж на самую голову задирали свои спiдницы. Словом, имя то было — батько Махно.

Было дико, что его не хватают, что он вышел, как вошел, что ему вслед не цокают пулеметы. В довершение необычности впечатления — француженка, корректор французской газеты, сказала, что он на днях был у них в редакции и очень настаивал на прибавке особой заметки к злободневному процессу убийства Петлюры. В заметке стояло, что поминать имя de Makno рядом с de Petlurà не годится, ибо антисемитизма в *его* войсках никогда не было.

Под утро, когда круглая комната перестала кружиться и двинулась прочно в Сумасшедший Корабль, прозаик Долива вышла первая в коридор.

В окнах стыл ватный туман. Над умывальником лампочка раскалилась и, перегорая, стала как орудие пытки в стеклянном колпаке. На подоконнике сидели два недомерка второй ступени. Они разбирали «Мертвые души» с социальным подходом и уже окончательной непричастностью к гнилым навыкам старого быта.

— Ну, кто по-твоему будет Чичиков?

— А чорт его знает кто. Ты знаешь?

— Я знаю. Чичиков был инвалид. Он то-и-дело звал Петрушку себе снять сапоги.

ВОЛНА ТРЕТЬЯ

В нижнем этаже были коридоры, окрещенные именами там живших писателей. Еще были залы бесвкуснейшей роскоши, с плафоном, где при щелканьи выключателя вспыхивали не лампочки, а, как гордились бывшие слуги — «нинифары, водные лилии». В альковчиках мавританского стиля укрывались влюбленные парочки, или высыпались беспризорные писатели, провинциалы, еще не включенные в Сумасшедший Корабль. Как в институте благородных девиц, был ряд умывальников, и случалось, проходя на кухню, вдруг услыхать несовременнейший окрик:

— Эй, послушайте, подойдите. Поговорим о Логосе.

Это кричал, чистя зубы, Акович, свободной рукой зажав крепко в ладони жестянку с зубным порошком. Он ею вдруг делал торжественный пригласительный жест, подобающий теме. Избранный собеседник останавливался то-ли с мискою, наполненной порционным супом из воблы, то-ли с миской пустой, и начинался изумительный разговор с экспозицией догматических тонкостей, с пересмотром. . . вселенских соборов.

В редкие минуты, когда несогласный собеседник успевал вставить в водопад эрудиции Аковича свое мнение, тот, не любящий возражений, не отдавая отчета себе в том, что делает, вдруг набирал непомерное количество порошку и, как щеткой по сапогу, ерзал яростней по зубам, разбрызгивая по всему сухому и твердому, обтянутому прекрасным желтоватым пергаментом лицу белые брызги мела.

— Кто со мной может спорить! Я жил на Старом Афоне целый год. У Тихона Задонского... У Плотина...

И в результате часовой беседы, остывшей похлебки, испачканного долгополого сюртука, Акович тряс руку и шептал:

— Человек рождается с фаворскими кругами внутри... По кругам этим воля должна взлетать всё выше... Вот основное в художественной элевации. Без этого не бывает великого искусства. Без этого лучше прыгать в цирке через стулья или головы, изумляя ловкостью, но не потрясая сердцá. Нет, не потрясая сердцá.

По вечерам, в особо холодные дни или задержки с разноской по комнатам дров, можно было наблюдать в кухне необыкновенное зрелище.

Немалая толпа вокруг еще теплой плиты. На плите же сидел хрупкий и зябкий Акович в старомодном своем сюртуке и полемизировал с ерофеевской бывшей челядью ни больше ни меньше, как о чистоте православия. В подчеркнуто-пафосном стиле он цитировал известных и неизвестных даже церковникам еретиков. Вызывая их к жизни и обставившись еретиками, как Дон-Кихот ветряными мельницами, с вдохновенным лицом пророка Акович их разбивал, шаг за шагом — ортодоксальнейшим Афанасием Великим.

Это был неподдельный огонь, это был талант проповедника, влюбленного в тончайшую работу мысли. Ерофеевская прислуга, не понимавшая в речи Аковича ни аза, тяжко вздыхала, лила подчас слезы по тому же принципу, как описанный Гончаровым слуга Валентин: чем непонятнее, тем чувствительней. Но случайный свидетель, способный оценить импровизацию Аковича, останавливался сраженный блеском эрудиции, вдохновением и жестом пророка, и радостно молодел.

Прислуга Ерофеевского дома любила сердечно Аковича за «простоту», за один факт сиденья вот так, на плите, за его экзотику, бессознательно воспринимаемую, как праздник среди однообразия ежедневной уборки огромного помещения.

И потому в тревожные дни, когда можно было ожидать нашествия белых и всех последствий, с ними связанных, с материнским чувством говорили кухарки:

— Ну, уж нашего Яковича мы не дадим. Хоть он и еврей, но, как апостолы, русский.

Кухонная плита остывала. Кто-нибудь почтительно трогал черный сюртук:

— Осипните, Якович. А ведь у вас на завтра доклад.

— И печка вам стоплена. Сейчас у вас потеплее, чем тут.

— У меня теплей? В самом деле?

Стремглав, как юноша, Акович срывался с плиты и пролетал через коридор своего имени к себе в комнату.

Помнится, юный Жуканец, сетуя, что импровизация Аковича не будет использована печатным станком, создал утопическую инвенцию, созвучно времени, на базе утилитарнейшей.

В грядущих колхозах он предположил внедрить поэтхозы, где творческий дар — величина вот-вот математически на учете — приспособлена будет для движения тракторов, причем творцам предоставлена будет наивысшая радость петь, как «певец» у Шиллера, только о чем запоется и только потому, что им невозможно не петь. Выгода отсюда будет двойная: для индустрии сила отойдет максимально, а так как благодаря счетчику-обличителю эту творческую силу подделать уже нельзя, то само собой будут выбиты из позиций и «псевдописатель» и «кумкритик». Один настоящий творец, он же *двигатель трактора,* взят будет на полное хозснабжение. Те же писатели, от работы которых не воспоследует передача сил, и трактора от их словес *не пойдут,* как профессионально себя не нашедшие, кооптированы будут в отдел ассенизации города.

Но, увы, энергия вдохновений в настоящем была всё еще величиной не математической, а напротив того — весьма спорной.

Запомнился автору тот морознейший день, когда на кухне прислугой ерофеевского дома, если можно так выразиться, установлен был прямо *скульптурный синтез оценки* с утилитарной точки зрения творчества, «из которого сапог не сошьешь».

По причине мороза и скудости топлива трубы лопнули. Водопровод стал, и создались натуральные, всем известные в те годы, печальные неудобства. Неудобства же привели к следствиям. По ночам то тут, то там открывались форточки. Из форточек выпадали или коробки от бывших конфет с каким-то увесистым вкладом или просто отлично перевязанные крест-на-крест пакеты. Пакеты нередко попадали в прохожих.

Однажды пакет в синей «сахарной» бумаге ушиб сторожа Катова. Катов отметил, чья именно форточка, и в порядке дня, при обсуждении кухонных распрей и дел, поставил «пакет» на повестку.

Искали виновного. Владельца форточки Катов назвал и выругал, предполагая, что он виновный и есть. Но едва пакет пошел по рукам, тотчас кто-то ввел корректив:

— Пусть себе форточка Иксова, но на столько Икс не наест. Где заработки у Икса?

Еще все сказали с презрением к самой профессии обвиняемых:

— Не только Икс, никто из них на столько не наест. Кому они надобны? Сапоги из них шить?

И резолюция:

— Нет, *это* не ихнее. Это может быть только от кого из бывших. Ну, бывшие понятно. . . всё-таки не одни книги, они *вещи* припрятали. А вещи — не книги. *У наших же,* что в самих себе, что из себя — *весу нет.*

В углу коридора имени Аковича была комната, узкая, как труба, с неудобной буржуйкой. Там лежал и не жаловался писатель Копильский. Буржуйка в ногах его превратилась в домашнего зверя, вроде собаки, которую не надо было кормить. В дни дождей у него потолок протекал, и собака струила потоки. Копильский продвигался на подушке повыше, но мер не принимал. Иногда ему раздобывали от красноармейцев, чинивших мостовую, торцы, и железная собака, разинув пасть, жадно дышала огнем. Копильский, если был уже покрыт своим ватным пальто, его не снимал. Лакей из бывших ерофеевских, по имени Ефимыч, к нему особенно привязался за эти его барские, как почитал он, замашки, и усердно, по собственному почину, охранял Копильского, не допуская будить его на за-

седания, когда бы они ни начинались, и сколько б его ни убеждали, что товарищ Копильский довольно поспал. Ефимыч распяливал руки, как коршун крылья, и не без ядовитости говорил:

— Вот писателю Деркину хорошо б поменьше поспать, как они по матери ругаются, а у нашего здоровье хлипкое, они толком и черного слова не знают.

По вечерам в узкую комнату, как в нежилую, собирались для любовной диалектики парочки. На диванчике, плечом к плечу, как на плетне воробьишки, оседал целый выводок из школы ритма или из студии или просто сов- и пишбарышни. Они чаровали писателей. Они вступали с ними в новый союз и, если надо, заставляли расторгать союз старый.

Завистницы говорили, что здесь назревало умыкание одного поэта одной грузинской княжной и поэтессой.

Все жили в том доме, как на краю гибели. Надвигались со всех фронтов генералы, и голод стал доходить до предела. Изобретали силки для ворон, благо в книжке «Брестские переговоры» вычитали, что прецедент был, и немецкие военные чины ворон уже ели. От чувства непрочности и напряжения, обычных будней уж не было, и сама жизнь стала вовсе не тем или иным накоплением фактов, а только искусством эти факты прожить. Ни обычных норм во взаимоотношениях труда и досуга, ни необходимости носить те или другие маски, вызываемые положением или доселе привычной иерархией интеллигентских оценок.

И вместе с тем именно в эти годы, как на краю вулкана богатейшие виноградники — цвели люди своим лучшим цветом. Все были герои. Все были творцы. Кто создавал новые формы общественности, кто книги, кто целую школу, кто из ломберного сукна сапоги.

Бегая вверх и вниз по лестницам Сумасшедшего Корабля, наблюсти можно было, как появление во всеоружии из головы Зевса Афины — зачатие и рождение «китайского метода» в одной удивительной голове. Эпитет «китайский» присвоен методу потому, что, как утверждает Жуканец, прототипом его являются работы известных андерсеновских мандаринов на предмет замены улетающих в лес живых соловьев — соловьями заводными.

Голова эта — хорошего объема, отдаленно напоминала тюленью, лицом же — двух русских императоров: курносого Павла и Александра III в его бытность наследником. Еще еврейского апостола с картины Иванова, который значится под авторской ремаркой «Сомневающийся», если сбрить ему бороду.

Однако хохот его, остроумие, щедрость «гуляки праздного» в растрате творческих сил был только «прием», а слушатель только «опытное поле». Весь блеск, шум, раздача была проекцией в быту его особого вида литературных работ. И еще, быть может, это была самозащита, вроде как у морского животного сепии, которое, чтоб лучше спастись или прикрыть свой истинный путь, из себя же пущенной краской мутит воду и плывет вглубь, где ей безопасней. Умный человек, аналитик, и по тому как он взвесил свои возможности, чтобы состричь с них побольше купонов — аптекарь.

В нем существовали все виды литературного дарования, ни одно не доведенное до последнего мастерства, потому что аналитик перехватывал в нем по дороге художника, его выслеживал, разлагал и, как муху, накалывал на свое жало критика.

Если бы не табунная близость жизни Сумасшедшего Корабля, то понять истинную природу такого человека,

как он, было бы невозможно. Столько чудесной стратегии хранил он при всей видимой экспансивности.

Но в те дни обнажены были и у него, если не все мысли, как у других, то хоть игра лица. Из-под мохнатой папахи не всегда дерзило улыбкой мелкое в чертах и значительное только при черепе лицо. Очень умные глаза бывали печальны, и голос, как у юноши при переходе в зрелость, ломался и выдавал сложнейшими интонациями почти хроническое его неблагополучие, хотя он говорил этим голосом совершенно не личные вещи, а из истории литературы, или разбойничал на подручном бытовом материале. Скандалил из-за трубочиста, из-за отопления, из-за единоличного захватного права на мраморный, прозванный кем-то «афродизианским» умывальник с двумя душами. Он плескался так громко, живя в верхнем этаже, что ерофеевская прислуга внизу по его верблюжьему фырканью определяла, дома он или нет.

Согласно услышанным сверху звукам проводили к нему посетителей — от соратников по «китайскому методу» до ассуров, чистильщиков сапог, очень схожих с чертями. Еще было такое от него впечатление, что после каких-то жестоких утрат он вернулся к своему в конец разоренному внутри хозяйству, умнейше организовывает его и вот-вот выкинет имя фирмы, чтобы скрыть индивидуальный свой крах. Имя фирмы он выбросил — метод.

В нем пленяла в те годы невозможность какого бы то ни было отдыха. Им восхищались, он волновал.

Вот он и тот голубоглазый, легкий, возможно козлоногий юный фавн — смехом, шумом и самим собой наполняли особенно Сумасшедший Корабль.

Юноша-фавн запомнился как перепроизводство энергии, как мальчишеское озорство в единоличном кино-

фильме с излюбленным публикой номером — «Фамильный бриллиант пролетарского писателя Фомы Жанова». Торжеством постановки была благодарная депутация матерей города к писателю Фоме Жанову за частое их поминание в его творчестве.

По годам Фавн был просто мальчик, и звали его просто Вова. Казалось, он так разбежался, что конца нет разбегу. И кто ж знал, что остановка так скоро, и остановит разбег сама смерть.

. . . .

В то время как нижним этажем хозяйственно распоряжались численные по количеству, но однородные иерархически бывшие слуги этого дома, в этаже верхнем царила самодержавно Феона Власьевна. Она была высока, в движеньях плавна, седовласа, вельможна. В ее комнате был с лампадкой киот, под часами вожди, на постели кружевной пододеяльник. Была она набожна, но вместе с тем почитала современных властей за победу, любила почтенье и с достатком жильца. Неимущие писатели казались ей даже не бывшими господами, а просто *прохвостами*. Зато Евмей Павлович, по службе трубач, частным образом бравший заказы на починку часов, был ею немало ценим. Он, в свою очередь, звал ее «тетенька» и на сковородке приносил на общую плиту не конские ноги, как все прочие, а сплошную старорежимную говяжью вырезку первый сорт.

Впрочем, этот Евмей Павлович своими преимуществами унижал недолго писателей. В один пайковый день, когда все столпились на кухне, Феона Власьевна сконфуженно объявила, что Евмей Павлович съехал.

С тех пор на коммунальной плите водворилось одно беспросветное меню литераторов — вобла тушеная, вобла вареная. Евмей же Павлович, как все узнали доподлинно,

из Сумасшедшего Корабля выехал не по собственной воле, а вполне принудительно и прямехонько в узилище, ибо проел на первосортной вырезке все доверенные его частной починке часы.

Кухня была местом, где можно было получить неожиданный бытовой материал, и писатели здесь охотно толпились. Увы, педагог-бытовик Сохатый оказался в смысле карьеры полной жертвой подобного материала.

Он заинтересовался рассказами уборщицы Дарьюшки про чудотворного целителя Епимаха. В те годы плавки быта в моду вошли выступления живцов с коммунистами и вполне штатскими атеистами. В те годы, как пышный расцвет перед увяданием — торопились заявить себя все разновидности сект. К Епимаху уговорились съездить втроем — Феона Власьевна, Дарьюшка и Сохатый.

Педагог Сохатый был влюблен в панну Ванду из кафе «Варшавянка» и хотел пойти с нею в загс. Сохатый Ванде не понравился, но об упраздненных титулах панне мечтать тоже было нечего. Между тем Сохатому обещан был зав. За завом могли двинуть инспектора, и кто ж ее знает, всю головокружительную карьеру Москвы. Словом, панна Ванда, кое-что взвесив, давала надежды Сохатому.

Сегодня ее не было в кафе «Варшавянка», а сестра ее, рассмотрев на Сохатом американский костюм из сукна дома ученых, благожелательно рассказала:

— Панна Ванда, проше пане, муси быть в Децком Селе и сегодня, и завтра.

И адрес дала — в Колонию на одну из дач Мейеров.

— Изумительно! — воскликнул Сохатый: — у меня в той же Колонии и, вообразите, на такой же даче Мейер живет брат с сынишкой. И их именно завтра хотел навестить.

— Езжайте, Ванда бенде задоволéна, — любуясь невинным измышлением влюбленного, улыбнулась сестра.

Однако, у Сохатого, действительно, жила в Детском родня и, действительно, у одного из бесчисленных Мейеров.

Сохатый на другой день поутру раздобыл на толкучке у бывших людей для племянника палочку с лошадиной мордой, панне Ванде в презент, за отсутствием конфет и цветов, снял со стены свое холостое сокровище — гравюру чудеснейшей Афродиты и уложил ее бережно в казенный портфель. Окрыленный по-весеннему разлетайкой, он помчался с ближайшим поездом в Детское.

Перекладывая много раз портфель и лошадку, Сохатый посеял записочку с номерком дачи Вандиного Мейера и решил сперва заехать к брату, чтоб от другого своего знакомого Мейера узнать про квартирантов Мейера незнакомого.

«Молочницы выделяются в хвост» — прочел Сохатый в Детском первую строчку только что вывешенного плаката и развеселился. Но малограмотные бидонщицы, не поняв, плюнули и ругнули советскую власть за похабство.

Сохатый шел по аллее, сопровождаемый криком влюбленных грачей и зеленеющим овощем огородов. От избытка весенних эмоций и желая потешить сюрпризом племянника, он перед дачей первого из Мейеров зажал крепко под мышкою портфель с Афродитой, сел на лошадку верхом и, взнуздав ее, с криком — но-но! — стал огибать клумбу. Близорукий Сохатый подъехал к балкону. На балконе в бланжевом пеньюаре была... панна Ванда.

Ну, что бы Сохатому слезть мигом с палочки, самому первому рассмеяться, пленить панну Ванду инвенцией и легкостью... ну, словом, из погибшего стать победите-

лем? Увы, педагог Сохатый ничего такого не сделал. Напротив того он в конфузе решил, что сейчас в его положении будет всего незаметней продолжить и кончить на «лошадке» объезд вокруг клумбы.

Он прибавил рыси и в своей ветром раздувшейся разлетайке, с повторным криком — Но! Но! — выехал так же, как въехал на палке верхом.

Только на улице, за калиткой, под звонкий смех панны Ванды, он сломал об колено игрушку и далеко в огороды закинул куски.

Ну — и что дальше?

Вернуться в колонию для свидания с племянником к соседнему Мейеру... провались их порода.

Вдруг, откуда ни возьмись, окликнула его уборщица Сумасшедшего Корабля тетка Дарьюшка, притом без малейшего удивления:

— Вы, товарищ Сохатый, то же самое едете в город? Ну, так едемте вместе. Видать, это перст. Мы с Феонушкой нынче ведь к батюшке Епимаху надумали. Приехали тетушку здесь прихватить, да больна лежит тетушка. А у старца назначено трем. Уж такая планида, что вам...

— Я давно интересуюсь. Я очень рад, очень...

Сохатый не врал. Еще бы не рад, если снова обрел всю солидность, если он, педагог-бытовик, поедет в интересах «быта и сказа» для научных записей. Это тебе не на палочке вокруг чужой клумбы скакать.

На вокзале та же надпись — «Молочницы выделяются в хвост» показалась Сохатому уже не веселой а, как и Дарьюшке, сплошным издевательством. Он с печалью профилософствовал про себя о бессмыслице «вещи в себе».

На вокзале паломников встретила Феона Власьевна. Втроем сели в трамвай и пронеслись далеко на окраину. Там по тропке пешком еще версты две к Епимаху.

Дорогой Феона Власьевна учила Дарьюшку:

— Собери, девушка, думки. Если на кого зло держишь в сердце своем, отпусти. Как ожгет Епимах огнем старческим, в тебя ж твоя злоба вгрызется, исполнению желания поперечит.

— И вспоминать мне труда нечего брать, — говорит Дарьюшка, старая девушка, в мелких морщинках, без грубого весу пышных женских статей. — При мне она, эта злоба моя. — И кулачок сжала сухонький.

Рассказала Дарьюшка, как ездила заграницу мать ее вскормленника Евгешеньки, — из-за него сейчас к Епимаху весь поход.

— Еще не в старых годах я была и, конечно, девушка. И жених, главное дело, был. Однако, ничего этого барыня моя не уважила. Оставила мне на руки, прямо скажу, гузастого кенаря и сучку свою Бровку. Блюди их, говорит, кенарю, чтоб по комнате ежечасно в променаже летать, не то зажиреет, петь перестанет. А сучку сохрани мне в полном уважении от кобелей. Только уехала — беда! Кенаря на променажном полете кошка сцапала, а Бровка, до чего потерянная, едва на улицу вывела, сама — шасть к дворовому, так с чепкой на шее и отгулялась. Обозначалась в скорости Бровка щенная. А барыне приезжать. Что страху... Спасибо швейцар научил: к собачьему ветеринару свела. Он собачий аборт Бровке сделал. Ну, стыда... Ну, сраму — я ведь девушка.

— Изругала тебя, значит, за кенаря? — спросила Феона Власьевна.

— Кенаря, спасибо, Николай Чудотворец на Сенной

другого послал, такого же гузастого и с черным пятном. Встретили звери барыню честь-честью. А она мне ни спасиба, ни здравствуй. Сразу кричит: исхудала Бровка! Что ж ты ей фокса найти не смогла? — Сами же вы, говорю, ей это запретили... А она с издевкой: — А ты свой разум имей! — Зря вышло, я собачий аборт на свой девичий стыд приняла. Главное дело, жених мой, узнав все подробности, отказался. Кто, говорит, грех собачий покрыть может, тот и свои все покроет...

— Не содержит это дело никакой самостоятельной обиды, — прервала Феона Власьевна. — Сплошной вижу промысел, соблюдший твою чистоту. Сама я тоже, девушка, могу понимать. Твоя барыня — орудие свыше. А как она матушка родная Евгению Юрьевичу, то именно благодаря ей ты человеку нынче душу вернешь, а себе обретешь обитель.

Сохатый, заинтересовавшись фабулой событий, осторожно спросил:

— А кто же это, Дарьюшка, Евгений Юрьевич будет?

— А сынок тоей барыни, мой вскормленник. Когда ему годков девять стукнуло, маменьку его заграницу увез один крученый — Жоржем звали. Уж и не знаю, куда они оба сгинули, Евгеша достаточно ревел, когда про мать говорили. Хлоп на пол и ногами сучит. И тогда, дитей, понять можно было, что не иначе коммунист из него должен выйти. Только слова этого еще не знали и его бранили другими, какими случится, словами. Да вот, поди ж ты, коммунист — а вся жизнь вышла в нем, в этом Евгеше. Ноньче — Евгений Юрьевич, товарищ Глобус. Маменька его окончательно не вернулась: воспитывать взял дяденька, а при белье, штопке и прочем — меня. Целовал, бывало, Евгешенька, как женюсь, тебя, нянька, к себе жить возьму. Сейчас, хоть и не женился, а слову верен. Вер-

нулся с фронтов, живем вместе. Он по должности с лишней площадью, я на кухоньке. На лишней площади у нас маменькин диван плюшевый, а на нем не как у других прочих, не мамзели ночуют, а такие вот, как Евгешенька, бритые, табаком прокуренные и с нашивками. Большую карту на столе расстелят, животами по карте елозят, флажки красные тычат, китайских генералов кричат: Фу-ты! Ну-ты! Китайские генералы — один как другой, почитай их родные матушки путают. Прожили ладком годик, и вот такое мне горе, такое... такое...

И заплакала Дарьюшка, а Феона Власьевна строго:

— Про горе сейчас нельзя. Про горе старцу доложишь.

Пришли. У старца горница чистая, не потайная. Ни он мертвая церковь, ни он против изъятия ценностей. Что ему хорониться? Он в огородной артели. Сам овощь всякую садит, поливает, собирает, весь год овощью сыт. Бабы ж к нему ходят как к лекарю, потому что он старинного времени фельдшер и порошки у него есть от всего мужского и от всего женского.

Висит у старца над столом большой Совнарком, еще тот, двадцатого года, что за восемь миллионов вычета выдавали совслужащим, висит в уголочке Казанская.

Доброволицы-уборщицы стирают, крестясь, пыль с обоих.

Бабья в горнице сила. Бабы, как известно, лечиться охотницы, особливо, если заодно с пузырьком лекарь и слова знает.

На помосте над бабами Епимаха видать от пупочка. В серебряном он опояске вокруг крупного долговатого живота, в обтяжку схваченного бирюзовым сатинетом рубашки. По праву руку Епимаха молодцы, дьяки разбойные.

Один — кривастый, лобастый, другой — чисто гусь, красконос, с гоготом. Ведет старец речь прерывно. Малую толику Слово Божье, и сейчас же по профессии — про целебные травы, про хворости. Бородой седой направо, налево, — таки ли мол? Без омману?

Кривой глазом закружит, вихрастый космы взметнет и загуркает:

— Го-го! старче, го-го! Без омману.

А бабы с подвизгом:

— Ох, старче! Ах, старче. . .

Ни пенья, ни благолепия. Клекот да гогот. Голова сразу кругом.

— Бабоньки, — говорит старец новой партии — где Феона Власьевна с Дарьюшкой и Сохатым: — бабоньки, сейчас у меня час именно «духовной министерии». Кому без порошков, один голый совет, тот посунься вперед. Кому порошки и телесное, тот к стене. Расслои народ, Савушка!

Кривой закружил глазом и размежевал табунок, как овец разномастных. По одной провел к старцу на дух.

Тихо в горнице. Шевелится у старца борода, сказать, подвязная. И почитай весь он из шерсти; голова что кудель, глаз — мышка в кустах, нос шишковатый, а прочего ничего — одни заросли. И такая крепость от этого Епимаха — лесом, грибом, ягодой тянет. И не горница тут, а солнцепек на выгоне, а сам он лешак лесной.

Молодцы каждый вроде с кадилом, им неблаголепно подбрыкнули подкидисто. Клубы дыма тучные, — не фимиам церковный, дурман-трава.

— Сумно мне, Феонушка, — шепчет Дарьюшка: — мыслишки все сперло.

А над Дарьюшкой уже старцево ухо мохнатое:

— Сказывай!

Любопытно Сохатому, собирателю «сказа и быта», шагнул вслед за Дарьюшкой, слушает .

— ... Вскормленник у меня, батюшка, заместо сына родного, извиняюсь, брюшным тифом болел. Сейчас его откармливать надо, не то помрет. И хоть, вторично извиняюсь, он коммунист, но выняньчила я его, батюшку, и хоть, конечно, он теперь от души своей отказавшись, однако слов никогда не говорит, и ко всем жалостливый.

— Бывает это и с ними, — сказал старец. — Не сам, значит он звезду на себя принимал, а некий вселéнный в него, что имеет лик девий, язык лисий, а сердце перемещéнно на правый бок. В чем же твое именно дело?

— А дело, батюшка, в том, что болеет этот мой вскормленник тифом, а молиться церковно за него я боюсь. Сказывают, удар по нем будет, как из пушки, и тела его ничего не сыскать. Горе мне, батюшка, заместо родного дити он мне. Вот и мечтаю, как бы изловчиться, посвятить его во исцеление и притом без телесного вредительства.

— *Святить коммуниста снаружи нельзя,* — сказал старец, — первое декрет запрещает, а я против советской власти, как иные попы, не иду. Второе, все наружное естество у коммуниста не под крестом, а под *звездой.* Но дать *внутрь* от властей не противопоказано, а для благодати даже спорчей. *Святи его внутрь* — приказал старец. — Как он у тебя, яйца ест?

— Как же, батюшка, доктора прописали. На Охту аж бегаю.

— Так. Отче наш знаешь? Ну в просторечии «вотчу»? Так. В кипяток яйца брось, в смятку — два раза «вотчу»

прочти, а коли в мешок потребляет, то — три. Бывало, в лазарете сиделки больным этак-то все под «вотчу» варили. Без промаха. Дело военное, проверенное. *Две вотчи — смятка, три вотчи — в мешок. Святи внутрь!* В твоем редком случае, при подобно сваренных яйцах всосется в кишечник и святость. Купно с переваркой яиц разнесется железками по всему организму. Запомни твердо одно: *минуя кишечник, помочь коммунисту нельзя, потому все наружные части идут у него под звездой! Ну, иди! Святи внутрь!*

Старец протянул благословляющую руку. От величайшего любопытства, что еще скажет он Дарьюшке, Сохатый, далеко вытянувший голову, не поспел отскочить и под гогот и клекот старцева хора получил, как и все, благословение Епимаха. Одурманенный гамом и куревом Сохатый к выходу... Глядь, — в дверях секретарь учреждения, куда именно метил он завом.

— Вы? — сказал секретарь.

— И вы... — опешил Сохатый.

— А почему бы не я? — сказал с гордостью секретарь: — если я именно езжу в свой семейный очаг и притом без саботажа в свободный от заседания день. Случается для наблюдения захаживаю и сюда. Ну, знаете, товарищ Сохатый: из наших кандидатов под благословение старцево подмахнулись вы первый.

— Я стою под марксистским углом... — начал было Сохатый.

— Уж под которым углом вы стоите, я точно не знаю, а вот если за то, чтобы сесть... Я вам определенно скажу — вы, товарищ Сохатый, *сели в калошу.*

Конечно, никакого повышения Сохатый не получил.

Всякие намерения на его счет у сестер-полек рассеялись. Сохатый, говорят, и по сейчас бобылем. Он уехал в глубокую провинцию и, надеемся, если дойдет до него благодаря нашей записи про предпоследнее эмигрантское поведение панн, — оно освободит его от всех затаенных иллюзий и сделает наивиднейшим женихом.

ВОЛНА ЧЕТВЕРТАЯ

Ну что же, ходили граждане за «золотым дождем» и с мешками на Миллионную за пайком. Почему-то поэты первые защеголяли в чехословацких башмаках, но для прозаиков превращение «чехословацкой» опасности в цыплячьей желтизны обувь был еще миф.

Впрочем, и при отмеченных счастьем ногах, всё прочее, восходящее, продолжало быть, как на дачном любительском костюмированном вечере. — Альмавива и галифе возглавлялись тиролькой, но получался совсем не тиролец, а, например, профессор истории.

На вечерах женщины-писательницы выступали в мужских фраках, с пропущенным в манжеты кружевом ночных кофт старорежимных чьих-то тетенек.

В газетах уже писали о «наступлении по всему фронту против «разрухи», но сегодняшнего единообразия языка еще не было, текст пестрил скобками и всякими индивидуалистическими завитушками с восклицательным знаком.

«. . .вот он XX век чудес и реальных осязательных за-

воеваний народными массами (а не игрушечными людишками и «барынькaми»), всех видов технического прогресса».

Мы Карла Маркса рабочие,
Красного Шара правительство,
Мы — созидатели-зодчие
А религия наша — строительство.

Но театры еще доигрывали «Екатерину Ивановну» и «Синюю птицу», а в Речном порту ребятам делалась елка. Союз водников прислал — березовый крем, шпильки, губпомаду и сорок штук одинокой буквы «Ч» для калош. Союз водников продернули с пожеланием: «Хорошо б им самим эту букву с прибавочкой другой буквы «к»!

Был кризис топлива и веселые воскресники по уборке последнего снега под бодрящее пение стишка:

Без печали и без грусти
Красный молот жизнь скует,
Но не раньше, чем мы пустим
Производство наше в ход.

Улицы были все еще пустоваты. К фонарным столбам учреждений ребята привязывали веревки и вздымались над публикой на «гигантских с подкидом». Случалось — сбивали прохожих. Впрочем то же самое делали и авто и грузовики.

В один из походов Сумасшедшего Корабля в Дом ученых помнится внезапный визг, собычий гав, тяжкий ох машины и толпа вокруг милого кудрявого пса. Удивительно утешали владелицу в слезах, с печальной цепочкой в руке:

— Это ж, гражданочка, пес, а часа два назад тут вот пёр грузовик, набит до отказу, сказать — обезьянник, — поворот тут крутой, шофер бешеный, с размаху свернул, ну, излишек, конечно, на лед. Две гражданочки... Одна, конечно, головой, ка-ак квакнет, рукой дрыг — и всё тут...

— А другая?

— Другая встала, и, конечно, орьентируясь в положении, на все стороны выражаясь за шбфера, пошла. Живуче женское племя...

Поэт нам сказал:

— Ну, статистика. Переход меньше полверсты и две катастрофы — собачья и женская. Не будь у меня воспитанной «воли к добру», была бы и третья. Только что я продавал тут селедки, и один на шатучих макаронных ногах — его я отметил — слямзил у меня всю монету. Тотчас толпа. Все, как один, на хромавшего вдалеке: — Он это! И скажи я, как Вий: это он, — ведь они б растерзали. Но я спохватился «покрыть», бормоча: «я нашел». Меня обругали и разочарованно расползлись. Густое времячко.

Действительно, время было густое, и непреувеличенный этот день избран нами как синтезирующий пример.

Автор далек от вкуса к бульварному нагромождению ужасов. Беря обстановку тех лет, он, не искажая ее, делает только выпуклей, чтобы убедительней дать свой запоздалый ответ на запрос, ну хоть покойного, например, «Чипа»* — «как живет и работает наш писатель».

О том, сколько именно писатель выкуривает, предаваясь творчеству, папирос, конечно, возможно ответить *немедленно,* особливо, если писатель, себя обожая, ведет статистику всем своим склонностям. Но ответить по существу, значит *воссоздать обстановку* работы, то есть показать самое важное — *преодоление трудностей каждого дня при помощи «искусства»*. Однако, этот преувеличенный день и в стенах Сумасшедшего Корабля чреват был трагизмом. Прибежали вдруг в общую комнату утром недомерки в сильном волнении, с биноклями в руках. Они да-

* ЧИП — журнал — «Читатель и Писатель». Ред.

леко вдаль из-за двойных стекол окна штудировали проруби реки. У самой отдаленной они наблюли человека. Над черной ямой во льду человек поклонился на все четыре стороны, правую руку собрал в щепотку и зачем-то посолил сам себя. Религиозные навыки так быстро утратились в подрастающем поколении, что вероятное наложение человеком, решившимся на самоубийство, креста на весь мир и себя, показалось ребятам лишенною смысла «засолкой».

Гражданин прыгнул в прорубь, а недомерки пришли в восторг от смелого физкультурника и стали следить по часам сколько именно он продержится под водой. Только по прошествии четверти часа они вдруг сообразили, что гражданин, чего доброго, совсем не физкультурник, а утопленник. Недомерки перепугались и прибежали заявить.

Мужчины тотчас кинулись к реке, оставив с детьми матерей. Как женщины, матери стали требовать всех мелких подробностей происшествия. Старший недомерок уже без запинки, явно дополняя воображением быль, стал рассказывать, какое было у человека лицо, как он плакал и «солился».

— Ты это всё врешь! — вскричали прочие и кинулись его бить.

Им, конечно, не дали и, усмирив страсти, спросили:

— Ну, за что вы его?

Они, плача, ответили:

— Он обидел утопшего человека.

Таким образом бессознательно недомерками найден был камертон для оценки того, что такое *искусство*. Если бы рассказчик превысил их чувства своей эмоциональной напряженностью и нашел бы ей безошибочно выражение — он не был бы побит.

Однако, эта тема особая, сейчас же автор себе позволяет только скромно настаивать на необходимости развития у граждан воображения как начала, организующего жизнь, и множителя ее радостей. К тому же отсутствие воображения приводит к легко устранимым в быту нелепостям.

Начнем с мелкого факта. В кооперативе на днях очередь на гусей. Директива — продавать двум одного. Желтый пупырчатый гусь, как ребенок на суде Соломоновом, ждет, поджав красные перепончатые лапки, чтобы мясник взмахнул и опустил мечевидный свой нож.

Подходят одна за другой две сестры— живут вместе, хозяйство одно. Они просят дать им гуся целого, а не рубленого. Не утративший здравого смысла гуседатель им завернул.

— Куда?.. — завопил хвост. — Ложи обратно. Рубай им, как всем. Нам половина, а им целого!..

— Ошалелый бабняк! — рассердился гуседатель, — да ведь им в один дом.

— Им в один, а нам в разные! Привести милицейского.

Привели.

— Гражданки эти из нашего жакта. Свидетельствую, что сестры, притом хозяйство у них одно — сказал гуседатель.

— Коль одно, так им подавай и удобство! — взревел хвост. — Есть директива рубать? Не рассуждай, а рубай.

Гуседатель замер над гусем с мечевидным ножом, как китайский палач над китайцем, подставившим голову.

Во время расприи можно было на много вперед двинуть хвост, но коллектив, *лишенный воображения,* лишил устойчивых мнений гуседателя и сбил милиционера на исклю-

чительный формализм. Новый Соломон, подняв руку, приказал:

— Рубай им, как положено всем. Принесут домой — обратно зашьют.

Гуседатель рубанул. Бабняк успокоился, сестры унесли по полгусю, чтобы дома сшить его наново.

По поводу гуся вполне кстати нам вспомнить, как страдал бедный Сохатый одновременно от избытка воображения собственного и от полного недостатка его в слушателях, которым он при одной театральной школе создал «мастерскую слова». Как уже известно, из-за посещения чудотворного Епимаха, Сохатый «зава» не получил, к тому же разбитый внезапным исчезновением панны Ванды, он зарылся в работу по самое горло, обмотанное не шарфом, а вязаным бывшим свивальником своего племянника, вселенного в дачу Мейер.

В мастерской слова Сохатый изобрел способ преподавания творчества «начинающим». Признавшие себя потенциально писателями притекали охотно и в немалом количестве. Почти все полагали, что у литераторов был какой-то особый, скрываемый ими, «секрет», благодаря которому они умели писать, и в первую голову интересовались, как бы доподлинно разузнать, какие именно книги любит читать такой-то. Многие в невинной прозорливости утверждали, что прочтя, примерно, книг десять чужих, они, зная *секрет*, одиннадцатую книгу уже напишут свою.

И они торопили Сохатого выдать им этот секрет, чтобы скорее печататься. Но Сохатый престижа литературы не снизил. Как в засуху деревенцы взирают на тучу в надежде дождя, вперились в него ожидавшие «слово-ключ», но он им предложил пресерьезное упражнение: *Памятник Петра.*

— Вообразите — сказал им Сохатый, — что у вас есть близкий друг, ну, положим, в Китае, который этого памятника совсем не видал. Даю вам десять, или нет, лучше только пять строк, — опишите рельефно и сжато, взяв одну, так сказать, квинтэссенцию, чтобы «он» или «она» могли этот памятник увидать из Китая. Кратчайшее достижение будет лучшим. Я начинаю этим заданием передавать вам, товарищи, из рук в руки искусство писать. Данное упражнение захватывает все виды творчества — воображение, силу изобразительную и словесную лепку.

К следующему уроку все «скатали» Петра прямо с Пушкина, притом расписались на много листов и стихами и прозой. Единственное сочинение, отвечающее приблизительно пятистрочности, было таким:

«...Как я живу на Галерной и ходю на работу, конечно, мимо заказанного памятника, то, не глазея по сторонам, его никогда не видал. Как учитель задал, я обсмотрел. Ничего, здоровый памятник, чугун переплавить, хватит тонн. В Китае же девочки не имею, а в Загс после получки иду с Саней из Красного треугольника. Как памятник она отлично видала, то размазывать нечего. Пять строк. Точка».

Узнав о разочаровании Сохатого, мы собрались было поддержать его собственным, более удачным опытом в одном рабочем кружке, но Сохатый вдруг, как и панна Ванда, исчез.

На один только миг нам пришлось однажды при посещении Эрмитажа его не то что увидеть и, вернее, даже, не встретить, а лишь угадать боковым зрением. Сохатый пронесся мимо малахитовых столов, как печальный, отбодавшийся бык, пригнув голову вниз, на лестнице к выходу. Прямым же нашим зрением, что называется «во все

глаза», мы наблюдали совпавшее с пробегом приятеля иное достойное зрелище.

Только что вышла из залы итальянцев писательница Долива. Полна несметных богатств Тициана она нам с разбега сказала:

— Восхищена. Неувядаемость восьмидесятилетнего автора Магдалины — лучшее доказательство, что никакой старости нет, если без остатка переключить себя в сферу творчества. Иду бродить и искать... Искать, в какой именно литературной форме мне поделиться с читателем моим опытом, ведущим, купно с сывороткой Мечникова, человека к бессмертию. Как вы думаете, уместно ли прозой? ..

Автор Доливе ответить не поспел, потому что она, бросив автора, вдруг прыгнула к Рубенсу.

Перед замечательной картиной Рубенса стоял зачарованно юноша. В противоположность полноте чувств Доливы, разительна была его бедная эмоциональная определенность. Поистине, такую убогую мелочь себе выбрал несчастный из богатств, предоставленных художником, что мигом вспомнился сказочный тот хохол, что из полученного целого царства выкрал себе кусок сала и удрал. Бедный юноша смотрел на редчайшее достижение гения и элементарно плотски вожделел. Сомнения быть не могло. Потным, замутненным нечистью оком он вбирал в себя обнаженную фавниху и панисок, ведущих к ней под сень дерева полупьяного Вакха, отдаленно схожего с Сократом: всё это под синим небом, в пейзаже, распаренном произрастанием, плодородием, всей рождающей силой земли.

Понятно, что юноша, художественно необразованный, не мог оценить мастерство, но и доступное ему «содержание» было столь дешево им воспринято, что Доливе, только что разбогатевшей от того же, но не подобного лице-

зрения, кровь бросилась в голову, и она без предисловий, как власть имеющая, сказала:

— Вы ошибаетесь, эта картина как раз животного вожделения не должна вызывать, как впрочем, никакое подлинное произведение искусства. Какое бы из качеств художник ни выбрал, если он превратил его в материал для своего творчества, то оно уже не содержит элементов разложения, оно путь к преодолению. Искусство облегчает, освобождает, преображает грубую тяжесть. Слушайте, Леонардо да Винчи сказал: «То же самое пламя, которое сжигает, освещает тьму».

Долива угадала безошибочно. Юноша, пойманный врасплох, не возражал. На тон, взятый верно, он отвечал искренностью.

— Мы сейчас знаем искусство только с классовой точки зрения. О том же, что искусство, как преодоление материала, есть в то же время и средство самовоспитания, мы не знаем. Мы пока заняты только тем, чтобы освободить человека экономически.

Долива прервала:

— Если своевременно не спохватиться и не обогащать человека внутренно, он утечет у вас сквозь пальцы. Коли поете: кто был ничем, тот станет всем, — то уж не медлите, становитесь. Не то уподобитесь, как в сказке, голому королю, которого одни льстецы уверяли, что он великолепен. Сколько ни освобождать человека внешне, если он мыслью и чувствами беден, слеп к краске, глух к звуку, не организован как личность, он только внешне приличный член коллектива, а втайне продолжает зависеть от «четвероногого» в самом себе. Послушайте, надо быть не только явлением, но и первоисточником явления, надо быть творцом... И вот искусство...

Тут автор, увидя, что товарищ Долива уже готова забыть о первоначальном своем возбудителе — вожделевшем юнце и грозит аннулировать обилием абстрактных понятий свое поистине полезное вторжение в круг его немудреных эмоций, — автор предложил юноше пойти с ним в мятлевский дом, что на площади Исаакия, и посмотреть, временно в нем пребывавшую, одну примечательную вещь.

У автора была своя идея, как, впрочем, у всех писателей, населявших Сумасшедший Корабль и обладавших творчеством, из которого «сапог не сошьешь», как известно уже из волны предыдущей, столь презираемым всею челядью ерофеевской кухни.

Автор в те голодные годы, исходя из мысли, что все искусства, разнясь в проявлении, связаны внутренно, работал над новым реализмом, опираясь на форму живописную, где пока оправдал он себя раньше всего.

В живописи рельефнее видать, где «псевдо», а где «правда». Ни для кого не секрет, сколь мертвы титанические усилия «титанов» Джулио Романо. Ни что в «Дне последнем Помпеи», где статуи валятся с крыш, где расседаются камни, где всё будто в криках и смятении — всё, напротив того, пребывает в классической неподвижности. Между тем как в эскизах А. Иванова, при отсутствии жеста, при внешней застылости, потрясает в «Пророках» сверхчеловеческое напряжение сил. И это — не становясь вовсе на цыпочки, без абстрактных изощренностей, без декаданса, а при особо подчеркнутом реализме.

Итак, через достижения параллельные, через живопись искал автор путей к новой прозе и влачил плененного юношу, как естествоиспытатель кролика, на испытание чувствительности в опыте нового восприятия. Иначе говоря, отбив юношу, как предмет насаждения через искусство —

новой морали, у писательницы Долива, он кооптировал его для повышения модуса восприятий, уже чисто эстетических.

Но одновременно, желая юноше обогащения, себе лично автор искал проверки в занимавшей его мысли о преодолении картинной плоскости действительностью пространственной. В переносе на искусство слова это будет как раз тем первым опытом посильного «взрывания пограничных столбов времени», которому автор предается в настоящей работе «Сумасшедший Корабль».

Дорогой автор, только что внутренне посмеявшись над Доливой, волновался. Из всех «кроликов» — никому не в обиду будь сказано, автор далек от высокомерия, он охвачен профессионализмом — данный юноша был ему кролик наилучший, как свободный от культур эстетических. Он был — драгоценная целина, притом не глуп и склонен к эмоциям.

Если истина для грядущего художественного восприятия — новый пространственный реализм, то думалось автору, именно его, этот свежий новый зритель воспримет. Автор юношу забросал предложением отрывочным.

— В том, что сейчас вы увидите, не найти, как у Рафаэля, в себе замкнутой объединенности, завершаемой круглой линией, словом, обрамление до формулы. Ну, в переносе на слово — того, чем богаты рассказы Тургенева, повести Белкина, ну, Тамань . . . понимаете? . .

— Ни черта́, — честно сознался юноша.

Автор обежал юношу с другой стороны — как бы предполагая, что второму уху будет доступнее смысл его слов. Впереди уже краснела громада Мятлевского дома, и автор заторопился воздействовать по иному, примерами.

— Вот, скажем, Серов. В конце жизни, ища «картин-

ности», он пытался воскресить миф. Но старым историзмом он мифа не воскресил, он в «Навзикае» лишь дал живописный намек. А Петров-Водкин превратил намек в реальность своим «Красным конем».

— Что за буза, — прервал юноша, — красных лошадей не бывает.

— Может вам пояснит лучше меня знаменитейший учитель живописи Чистяков. Про коня этого он говорил: — я сам рыжего коня в детстве всегда видал красным. Думал — он прямо с солнца. А в детстве всё видишь и сильней и верней, да беда — сказать не умеешь. А вот если кто научился работать да одновременно может опять одуреть, как маленький, тот только художник и есть. Поняли?

— Чудаковато. Валяйте повеселей.

Валять уже было некогда. Пришли в залу. Автор закружил, как Фаустов пудель, вокруг своего пленника, не подпуская его сразу к картине.

— Здесь, видите ли, композиция разбита, центр взорван. Здесь при первом взгляде та же тревога, как на незнакомой громадной площади, с которой еще не знаешь как себя связать. Но поймите главное: этот художник уже не хочет давать картинную плоскость в прежнем смысле по той простой причине, что его картинная плоскость — *пространство*. Здесь чувство вселенского не ограничено. Подойдите, смотрите.

— Ну что же, — сказал юноша. — Прежде всего здоровенные яблоки. Определенно Антоновка. Уж куда ни глянь, — об их яркости помнишь.

— Как раз то, что нужно, — восхитился автор. — Об яркости этого желтого цвета помнишь. Но это в музыке — тон, в литературе — ритм. Есть, есть. Не правда

ли, ни красные, ни синие пятна рубах парней и юбок баб, разбросанных по картине, как васильки и во ржи алый мак этой звонкости желтого не убивают? Обратите внимание, поскольку картина может быть передана словом. Это именно «полдень». Это не символическое, а реальное, но еще мало знакомое зрение. Это когда жизнь предстанет вдруг, во всем ее обхвате.

— Что-то дюже много нагорожено. И всё сразу — и родился и помер, и мать дите кормит. . .

— Великолепно, именно всё сразу. Но это же не искусственная наивность, это уже вовсе не «стиль», это пожалуй сам Эйнштейн. . .

На большом полотне дорога перехвачена холмами. Выбегая из-за холмов, она расширяется в треугольную площадку. На площадке несут в синем гробу хозяина. Выше женщина, внизу — мать с ребенком, кто-то спящий, «он» и «она» с ведрами. Вы понимаете — «полдень». Всё под солнцем. Жизнь каждого сгармонизована с жизнью земли — с лужайками, кустами, далями синей реки, желтизною песков. Хотя неба здесь нет, но небо чувствуешь над головой, беспредельным, как и горизонты, потому что всё ощущается как происходящее на пространстве сферическом. . .

— Вы только вовлекитесь в замысел художника, — приставал автор к юноше, — и вы не можете не быть взволнованы космической непрерывностью жизни, стирающей самый смысл слова «время». Ну, поняли вы что-нибудь?

— Что я не русский? — сказал тоскуя юноша. — Только зачем это вы тычете в синее, а зовете зеленым, и наоборот?

Автор проверил юношу и воскликнул в свою очередь:

—Нет! Это вы наоборот. . . это вы.

Бедный умученный автором юноша был — дальтонист.

Гармония соотношений, художником данная, на него влиять не могла. И, не охваченный тем, что привносило в картину искусство, он в картине Рубенса увидал «голый факт», в картине «Полдень» — одну Антоновку...

Автор же еще раз проверил картину «Полдень» в самом центре Пиренеев, у так называемого «цирка Гаварни».

Это плоскогорье у самой вершины снежных хребтов. Его обступили восходящим амфитеатром грандиозные скалы-террасы. Неподалеку в вечных льдах, брешь, как вырезанный в камне громадный зубец. По легенде Роланд здесь ударил мечом, чтоб разбить его, но не отдавать неверным. Из ледников Гаварни могучей струей вниз падает пышный водопад. Он, дважды ударяясь о скалы, наконец прыгает в бездну уже не водной струей, а как если бы великан из гигантского пульверизатора его выдул нежным вуалем из искр, не колеблемым ветром и преломляющим радугу. Из вечных льдов Пиренеев течет бурный Гав. Как на картине Айвазовского, у него вымышленный колорит зелено-бирюзовой голубизны и прозрачность стекла. И камни. Вокруг каждого ткет бурливый поток белую пряжу. Вода, подмывая деревья, то растекается сеткою мелких ручьев, то собирается в полноводный студеный канал цвета темного изумруда.

Восходят из долины к террасам англичане, аббаты, экскурсии и ослы. Всё существует, не скрытое горизонтами, и кажется построенным как «Полдень» в бесперспективном китайском письме.

Ослы коварно шагают по самому краю, то и дело впадая в недвижное безразличие. Ослов мальчики тянут за хвост. Они кричат и идут. На ослах, в особом седле ящи-

ком, сидят грузно испанки, а испанцы со свистулькой в кулаке идут по камням напрямик, к одинокой горе, чтобы высвистать узкохвостую птичку Тото́.

Мы шли за одним из испанцев, всё не теряя из поля зрения ослов, людей, водопад и Гав, и перед собой увидели горы: Пик-дю-Миди, Эстазу, Марборе... Одна — розовая между прочих лиловых, в очень странных извивах, сказать, змеи-гиганты, сползая с вершины к подножью, оттиснули навеки свои очертания на камнях.

Еще одиночка гора. Под ней белой пеной взбесился ручей. Голубейший ручей и узенький месяц, турецкий. Здесь, на лужайке из одних желтых цветов, хороши были бы игры златорогих оленей. Здесь отдохнул бы несчастный французский поэт, написавший о том, как он хотел не мыслить, не чувствовать, пожить просто, как скот, в стране желтой, без грубой яркой зелени.

Здесь остановились и мы. Испанец — с глиняной свистулькой в руках. Среди безмолвия гор он нежнейше высвистнул такт и замер. Безмолвие. Испанец опять и опять. И вдруг из кустарника повторил кто-то в точности. Подождал и прибавил еще такт от себя: фью, фью... фью.

— Тото́, — прошептал нам испанец, — тото́!

Мы добрый час пребывали в горах, на космическом пиршестве. Наш испанец высвистывал птичке, зажмурив в блаженстве глаза. Из кустов, упоенная солнцем и воздухом, птичка свистала ответно с прибавкой: фью-фью. И вдруг птичка умолкла.

— Устала Тото́, — подмигнул нам испанец на куст и стал чистить свистульку.

В это время из кустов вышел испанец другой, с такой же свистулькой, как у нашего. Оба потемнели, как туча, но вдруг сразу поняли, что взаимного умысла не было, что

попавшись поймали друг друга. Они шляпы приподняли и галантно раскланялись.

Однако, довольно пейзажных экскурсов.

Перед издательством обязательство взято нами главным делом на фабулу. Спешим перейти к теме Олькин.

Конечно, существенней тема — Сохатый, тем более, что его пробег в эрмитажных пространствах был уже возвещен и «сигнализировал» между строк — происшествие чрезвычайное.

Но, увлекшись птичкой Тотó, за пространствами мы утратили профессиональное чувство места, так что для законной меры этой Волны можем взять только Олькина. К тому же его поучительным эпизодом действительно закончен был день назидательной элоквенции Доливы и эпизод показателен как образчик воздействий морали.

Писательница Долива приставала давно к Олькину, чтобы он прочел «Демона». Олькин высокомерился. Он де «назад озираться не может», и поэзия началась для него с его собственной первой книжки. Вообще мысль знакомства с классиками угнетала Олькина как угроза отнятия его мужской силы и ценности.

И вдруг поздно вечером Олькин, лихорадочно постуча, вошел к Доливе, крепко зажав поднятый воротник пиджака у самой шеи руками, как сконфуженный, неудавшийся висельник, и сказал погребально:

— Ну, радуйтесь. Я только что выслушал всего «Демона». Это произведение. . . замечательное. И есть строчки там. . . совершенно мои. Но прежде всего дайте мне что-нибудь вроде галстуха. Ведь я там принужден был оставить даже манжеты. . .

Действительно, Олькин был без своих гремучих змей и их белокаменного возглавления.

— Где вы оставили ваше имущество, — спросила с изумлением Долива, — и почему именно эта утрата совпадает с услышанным наконец вами «Демоном»?

— Еще бы не совпадает, — понурился Олькин, — они остались под постелью, когда я был в шкафу.

И Олькин рассказал или, быть может, тут же создал, пусть считается, как ему будет удобней — страничку Совдекамерона.

Будучи филантропом, Олькин нанес визит осиротевшей гражданке, едва ее муж уехал в командировку. Но только-что Олькин освободился от аксессуаров, стеснявших движения, как в двери стал бить кулаком внезапно раздумавший муж. Не отличаясь инвенцией, по древнейшему ритуалу, дама поспешно затиснула Олькина в платяной шкаф, а его штиблеты и каменные эрзацы рубашки поспешным размахом загнала под постель.

Муж, дав какое-то объяснение по поводу несостоявшейся поездки, желая развеселить жену, из-за псевдомигрени впавшую в псевдомеланхолию, стал вслух ей читать со школьной скамьи ему любезного «Демона».

Олькин в шкафу от безумного страха всех попадавших в его положение, опасаясь чихнуть и икнуть, превратился в напряженнейший слух. Сначала он делал усилия. Лермонтовский стих был ему беден после стиха своего. Но потом он втянулся и уже без корыстных сравнений в первый раз в жизни стал наслаждаться вдохновением чужим.

Вдруг чтение резко кончилось. Пауза... И неузнаваемый в ярости голос мужа сказал:

— Где ты его спрятала, негодяйка?

Оказывается между злоключением Тамары и Демона муж забросил окурок и горящую спичку под постель.

Целлулоидные манжеты Олькина вспыхнули. При иллюминации муж узрел и штиблеты. Скоро Олькин обнаружен был весь. В одних носках он слетел с лестницы, чехословацкие штиблеты ему были пущены вслед, но мелкие трофеи остались. Однако же «Демон» прослушан был Олькиным до конца.

ВОЛНА ПЯТАЯ

— «По твоему мнению из-за того, что ты добродетелен, на земле не должно быть ни вкусных пирожных, ни сладкого вина»? Так говорит шут у Шекспира, и деликатней закончить вам мои возражения я не могу, — сказал спутник француз.

Ему автор ответил цитатой классика русского, менее изящной, но не лишенной наблюдательности и смысла: «Клопы на том только основании и могут жить счастливо, что не догадываются о своем запахе».

— Довольно. На этом покончим взаимную защиту родины своей и укоризну чужой. Благодаря достаточной вооруженности в области эрудиции, исколов друг друга рапирами чужого творчества, но не оскорбив лично, мы сказали, в сущности, всё, что нами сказать было надо. Умолкнем. . .

Правду сказать, мы умолкли еще потому, что нам предстоял страшный спуск среди громадных камней первозданного хаоса. Камни эти держались на одной точке, — тронь — качнутся и загремят. «Игра гигантов» — спра-

ведливо именуется эта местность. На каждом шагу нарисован предупреждающий тормоз — борона со словом: virage. Скалы так близко к краю, что по тропке, бегущей у пропасти, проезд только для одного отокара. И разрешается он в совершенно безоблачный день.

— Иначе здесь свергаются, — сказал шофер, и утешая прибавил: — смерть мгновенна.

Однако, на этот раз нас пронесло. Через четверть часа мы увидали, мчась по ровнейшей дороге, всю цепь Пиренеев. Таяли горы в туманах. Из розово-закатных переходили в лиловые. Горы обрадованы были вечерним покоем, освобожденьем от туристов, гидов, ослов.

Только докатимся к горизонту, дорога опять, как гигантская катушка, откатит ярко-желтую нить в бесконечность.

На одной из остановок к перегруженному пассажирами автомобилю прицепился шоферов кум и, держась на одних бицепсах, под свист ветра и скорость езды он стал трещать о завтрашнем празднике в деревне Мамэ.

Нам деревня была прекрасно знакома. Мы жили неподалеку, и нередко ходили туда, чтобы — не скроем — купить себе местный корм свиней — кукурузу. Из французов ее никто тут не ест по деликатности пищеварения, нас же с лангустов тянуло к «капусте». И всякий раз старик, подававший нам початки, осведомлялся:

— Ну, как ваш поросеночек? Небось разжирел? Я не сквалыжник, кладу ему лучшее, как на выставку.

Не желая в глазах старика ронять нашу нацию, мы любезно ему отвечали, что поросеночек ему хрюкнул: мерси!

Ну, словом, дорога в деревню и сама деревня Мамэ были по соседству, и, понятно наше внимание, когда, по-

низив голос, кум стал ткать гнусный замысел для загубления прелестной девушки Барб Кайе.

И девушку эту мы знали и ее наивную историю любви. У нее на войне пропал жених. Все сроки его возвращения, казалось, прошли, и жадные родители требовали, чтобы она вышла за лионского богача. В ответ на упорный отказ они объявили, что, если дочь ничего не хочет сделать для них, то и они, в свою очередь, ее перестанут кормить. Гордая девушка ушла, и, хотя родители, одумавшись, ее умоляли вернуться, нанялась к соседу в батрачки. В деревне ее считали полуумной, но уважали. Нам же Барб призналась, что хотела бы родиться гражданкой страны l'URSS, где женщина свободна. Мы готовились оказать ей содействие на отъезд, как вдруг из болтовни случайно пристегнувшегося шоферова кума узнали, что жених Барб вернулся и находится в Бордо, где его только что видел кум. Еще узнали мы, что кум метит сам жениться на измученной работой и одиночеством девушке, которую великодушно любит, несмотря на то, что она, как уничижительно выразился он, — «обкрамсалась», то-есть остригла волосы, что в далекой от Парижа деревне еще было не принято.

На это шофер, не переставая мчать нас по железной дороге, разъярился:

— В наше время проститутки старались подражать приличным, а теперь наоборот...

Кум, уставши висеть на бицепсах, прервал:

— Итак завтра на празднике ты передай, что жених ее, хоть и нашелся, но не один, а с женой и ребенком. Конечно, это не правда, но ведь скоро может стать правдой.

Шофер захохотал.

— Дело наживное!

— А жениху я сказал и почище — что Барб стала

просто гулящей. Не так-то он теперь сюда поторопится, чтобы ее увидать. Как белуга ревел. А тем временем я горячий момент подхвачу. И — вот тебе мой патрон, святой Тома, — она мне в отчаянии не откажет. Ну, по рукам?

— Три шипучего!

— Хватит двух.

Кум ловко соскочил и, довольный, исчез, пропив, как он был уверен, судьбу милой Барб. Мы же въехали в городок.

Мы с волнением рассказывали всё нами услышанное о судьбе Барб французу, с которым пикировались недавно цитатами. Он пожал плечами и сказал:

— Велика важность, за кого именно выйдет девица из деревни Мамэ. Вы лучше обратите внимание на этот вот дом. Здесь жил знаменитый дьявольский дипломат Талейран.

Француз, как гурман-эрудит, заговорил о Талейране, а мы думали о том, какая жалость, что судьба нашего приятеля Сохатого никак не может сомкнуться хотя бы с судьбой милой Барб, и почему вообще романтики не совпадают... Но эрудит так увлекся, что голос его разогнал наши мысли.

— ...Талейран чуть было не вышел в люди при Луи Восемнадцатом. Но герцогиня Ангулемская воскликнула: «Он вотировал смерть моего отца». Талейран свою карьеру отложил, но, чего не успел при реставрации, он нагнал при республике, как пострадавший при монархии. Умирая, он всё торговался с клерикалами, подписывать или нет ему покаяние, чтобы вернуться опять в лоно церкви. Всё тянул, в надежде, что выздоровеет, и тогда, понимаете, это бы его не устроило... Наконец, совсем уже при смерти подписал, чтобы быть похороненным с особой помпой. Изу-

мительно, что он умудрился быть любимым даже народом. Лишь через пятьдесят лет после его смерти открылось, что он был прекрупнейший жулик, предатель, на постоянном содержании у Англии. Это был горбун, сверкавший умом...

По непредвиденным обстоятельствам, мы на праздник в деревню Мамэ поехали не с утра, как хотели, а лишь к вечеру. Идти было нам мимо речки Пики. Захлебываясь от быстроты белой пеной, она, ворча, ворочала крупные камни и после такого дождя, какой здесь был вчера, в ней было, конечно, купаться нельзя. Охранял чистоту ее горной лазури высокостильный запрет мэра города. Он был напечатан большими готическими буквами на белой доске и и гласил:

«О, не бросайте нечистот в ложе Пики!»

И еще романтичнее возглавляло ее бег четверостишие Ростана, подписанное под его же мраморным бюстом, поставленным туземцу-поэту у самых горных вод согражданами:

Luchon, ville des eaux courantes,
Où mon enfance avait son toit,
L'amour des eaux transparentes
Me vient decidement de toi.

Крыши из аспидных досок, горы и сады. Площадка средь гор. Над огромным дубовым столом шатер из зеленых ветвей и цветочных гирлянд. Перед музыкантами общий пюпитр с тетрадками нот, так что сидят как бы на плечах друг у друга — корнет-а-пистон, труба, барабан. Деревенцы с мрачнейшими лицами, подобно нашим чухонцам на мостах своих деревень, толкутся на площадке в фокстроте. Они качают бедрами, в необыкновенном арабеске изогнув правую руку обнимают стан дамы. Они все в шапочках страны басков, разрумянены вином. Тяжкими

ступами топчутся с ними женщины. Мрачное однообразие лиц, как и у финнов — здесь хороший тон. На вопрос наш, почему не слыхать смеха, старик нам ответил:

— У нас в горах зубоскалов не любят.

Свой праздник устроили здесь и каскады. Одни бросались вниз круто. Прошлогодний ельник сыпался им в догонку. Каскады разбивались о камни, и, наплакав целое озеро, уже без гнева, мелкими ручейками, обгоняя друг друга, мчались взапуски по разбитым аспидным доскам, покрывавшим грунт. Казалось, школьники всего мира, наскучив учиться, их тут разбили со зла. Другие каскады жемчужили чуть видной дымкой. А то просто плакала тихими каплями вся скала.

Женщины в необыкновенного цвета шелках, с продольными яркими полосами, были как конфеты с начинкой. Две-три пары съездили в Париж и танцовали, как там, — в вязаных пальто с фальшивым мехом из шерсти. Испанка продавала «муки родителей» — остроумие интернациональное: свинью и тещин язык. Усевшись над оркестром, дети невыносимо пищали вторя музыке. Тут же шло состязание в «кольцо» и «бутылку». На кону дюжина шипучки, а участникам розданы большие медные кольца. Надо изловчиться все их накинуть на шейку бутылки. Вышли деревня против деревни. Победителю бесконечный играли туш, а счастливая его подруга, краснея и надуваясь от гордости, надменно оглядывала товарок. Что перед нею Жорж Санд?

Сказать кстати, Жорж Санд в романтической позе, чуть склонив голову, восхищавшую стольких современников, сидит в аллее Люксембургского сада. Этот наклон ее головы — любимое место отдыха толстых серых птичек, побольше, чем наши воробьи. Они всегда прилетают к ней парами с каким-нибудь куском и клюют на перебой, долбя

ее в темя. Позавтракав на Жорж Санд, летят птицы прямехонько к бюсту Верлена, чтобы на просторную удобную его лысину... ну, просто, напачкать. Вот и памятник заслужили, вот и слава. Avis честолюбцам. И лови миг, немудрящие жизнелюбцы.

Восхищаясь победителями «бутылочных горл» и их половинами, автор увидел в темной расщелине между двух скал в глубокой задумчивости Барб Кайе. Он к ней подошел и без длинных предисловий сказал:

— Простите, что позволю себе вмешательство в вашу жизнь, но случай привел меня узнать то, чего не знаете вы.

И автор рассказал всё, что наболтал гнусный кум в ухо шоферу.

Девушка, сверх ожидания, не оказалась потерянной.

— Я так и думала, что этот Тома всё наврал, — сказала она до странности без возмущения, с бледной улыбкой. — Я понимаю, что вы хотели мне оказать дружескую услугу, но знаете, для меня всё уже поздно. Я слишком мало жила сама и слишком насмотрелась, как у нас живут люди. Если б я могла попробовать что-нибудь совершенно новое...

— Это вполне вам возможно. Поедемте вместе.

Барб качнула головой:

— У вас очень холодно. У вас белый медведь...

Больше она решительно говорить не хотела и заспешила к коровам.

На завтра в местной газетке стояло, что река Пика, столь воспетая Ростаном, хранимая в чистоте отцами города, приняла в свои мутные после дождей волны тело несчастной, оступившейся в погоне за коровами Барб Кайе.

Так как нам сейчас предстоит завершить похождения Сохатого, то, взяв перо в руки, мы невольно, при одной

мысли о приятеле, всячески доброжелая ему, вызвали в мыслях эту Барб Кайе, столь прелестное ему дополнение. К огорчению, жизнь совсем не то, что у Гёте в Wahlverwandtschaft, где автор перетасовал набело персонажей лучше, чем они начерно устроились сами. Сохатый же, предоставленный судьбе, как большинство еще себя не нашедших людей, искал в романтической слепоте только той, которая бы его не дополняла, а разбивала.

Кроме работы в «мастерской слова» над превращением писателей потенциальных в гонорарные, как знающий польский язык Сохатый набрал уроков в одной польской школе. Сейчас ее нет и впомине. В годы нэпа школу эту не разморозили, она от старости расселась и сделалась нежилой. Кирпичи растащил весь квартал, а стекла, как глаза палой лошади, склеванные вороньем, выбиты были мальчишками. Но тогда школа еще держалась и только что переименована была в советскую из католического полумонастыря. Два влияния в ней были очевидны, как соединенные вместе, но идущие вдаль, не сливая и не смешивая разноцветные свои воды, большие сибирские реки.

В оппозиции к педперсоналу была упорная кастелянша панна Генриетта, просто-напросто девотка, душой и телом приверженная ксендзу и костелу. От нее узнавали девочки, что коммунистам лгать не грех, а «добры учинек» что ладанку от Матки Бозки Ченстоховской ни за что снять нельзя, потому что гореть будешь в пекле не только сама, а сведешь туда дедов и родителей. Дедов мало кто знал, а родителей девочкам было очень жалко, и ладанки они прятали в совершенно укромных местах. Едва уходила из класса воспитательница, переворачивали к стенке вождей и молились особой «папской молитвой» о гибели «большаков». Либо на часы забирались в умывальню и, пока две дежурили, другие две правили литанию.

Но учительницы, молодые, веселые, такие же польки и только недавние комсомолки, с каждым днем соблазняли в новую веру сильней, чем удерживала в вере старой — Генриетта. И девочки, утомленные долгим пребыванием в холодном костеле, запугиванием ксендза, колебались. Панна Генриетта изобрела необыкновенную награду за «добры учинек» — разрешение поколыхать или переодеть большую куклу младенца — пана Езуса», спрятанного в глубоком тайнике былого холодильника. Без всего ритуала костела, без всенародного торжества, этот рождественский обычай показался вдруг девочкам, ну, просто, смешным. И пошли девочки записываться в пионерки, как дружились, — парочками. Наконец единодушие паствы было разбито, и возврат к прежнему с каждым днем невозможнее. Дольше всего из навыков прежнего держался обычай ходить в баню в рубашках, потому что ксендз утверждал, что плоть до того греховна и проклята, что бес вселяется немедленно в каждого, кто ее созерцает. Девочки, когда мылись, далеко отводили от тела одной рукой ворот рубашки, как на статуэтках, которыми нетребовательные холостяки украшать любят свой письменный стол, а другой прилежно скреблись мочалкой.

Итак, в левом лагере притяжением были пионеры и красный бант, в лагере правом — «дети Марии» и тайный бант голубой из отличных заграничных ленточек.

Как раз в день поступления Сохатого, последние месяцы между красными и голубыми бились бедные дети, а работа заведующей — с одной стороны, и панны Генриетты — с другой, уподоблена могла быть примечательному вязанью Пенелопы, где за ночь распускалось то, что было связано за день. Но решающим искоренением силы ксендза в пользу эры новой оказались так называемые *мочевики*.

Детей потрясла разница в восприятии однородных явлений. При старом укладе мочевики, обернутые по приказу панны Генриетты в разузоренную самообслуживанием простыню, должны были, как рыцари неизвестного ордена, стоять по обе стороны лестницы, по которой шествовал в школу ксендз. Сейчас их даже никто не срамил, а считались они просто больными.

Впрочем, Сохатый во все эти подробности совсем не входил, ему приятен был иностранный стиль этой школы, и как бальзам раненому его сердцу — все польские юсы, свистящие и шипящие, напоминавшие звонкозубую насмешницу панну Ванду.

Недели через две после ее внезапного исчезновения одно событие разбередило Сохатого. В польской школе появилась новая учительница Ядвига, до того похожая на исчезнувшую панну, что Сохатый, получая за ее рыжим золотистым затылком зарплату, чуть не ахнул, когда она, хрустя новенькими бумажками, звонкозубо улыбнулась. Екнуло сердце, вот спросит:

— Ну, з чэм вам? З варэнем? З орэхем?

— З макем! Ох, з макем... — бессмысленно и восхищенно шептал про-себя долго Сохатый, после того как уже скрылась Ядвига Кшеншевска.

Она была беглянка из Варшавы и всего неделю тому назад как поступила в комсомол. Яростней всех она воевала с детьми из-за снятия в бане рубашек, а почтенного ксендза прозвала просто-напросто — помидор.

При одном взгляде на Ядвигу, через которую влюбленный взор Сохатого прозревал панну Ванду, бедняк терялся до потери речи. Оставшись с ним наедине, Ядвига наконец вышла из себя и спросила: чи я вас угрызу?

На что Сохатый, сам не зная как, выпалил:

— Вы сестра панны Ванды.

Ядвига вспыхнула, побледнела и голосом, выдававшим страх и волнение, вскрикнула:

— Пан есть дурак! Никакой Ванды среди моих сестер нет. Товажищ, певне, обманут сходством. . .

Сохатый в свою школу ходил через мост далеко по набережной, сворачивая на дальнюю линию. На острове в те годы царила идиллия: посреди на выщербленной мостовой колосились злаки, синел василек, алел мак, и ромашки крутили головками посолонь.

У сфинксов Сохатый любил посидеть, помечтать. Вокруг него возникали татарчата из своей нацменской школы. Шустрый звероватый народ, с удивительным винегретом из передового просвещения в голове.

— Ну-ка, прочти мне, что здесь написано? — как-то ткнул тростью Сохатый в пьедестал сфинкса.

Татарчик с испугом отпрянул.

— Зачем моя спрашивал? Зачем пытать хотел? Моя знает, поповски лозунги нам не надо читать.

Сохатый прочел сам:

— «Вывезен из древних Фив». . . Но что же тут поповского? Фивы — древний город.

Маленький боялся.

— Моя не хочет читать поповски лозунги. Эти тетки поповски шапки на голова носят.

Другой постарше, обругался по-татарски и сказал по-русски:

— Она молодая, она не знает. Фивы — древний город, тута Ленин учился.

Все подхватили:

— Ленин учился. Древний город. Ленин знал древний язык, мы учили...

Маленький запоздало обиделся и прервал:

— Моя тоже знает. Ленин вуз десяти лет кончил. Наша десять лет первая ступень, а он, скажешь, вуз не может?

Еще рассказали Сохатому татарчата, что прежние люди до революции рождались от обезьян, сейчас рабоче-крестьянские не рождаются от обезьян. И спросили с восточной вкрадчивой лаской Сохатого:

— А ты как? Еще от обезьян?

— День восьмого марта, — отрапортовали с особым раскатом на родной букве р, — день раскрепощения женщины. До восьмого марта муж был рабом капитала, а жена была рабом мужа. Они сидели в подвалах и ели черный хлеб. А на улицу выйти до революции совсем не могли. Не было денег билет покупать. Одни буржуйки имели на билет деньги. Буржуйки билет покупали.

— Какой такой билет?

— А желтый.

На невинные мозги татарчат обрушились все двадцать веков чуждых культур, и у них под черепами была суматоха, как весной на их теплом море, когда идет там с заскоком камса, ошалев от весенней игры.

Сохатый дал ребятам последний кусок сахару и, окрыляемый их веселостью, с особыми надеждами пошел к своей польской школе.

Пусть сейчас удастся товажишку Ядвигу увидать наедине и он, как власть имеющий, не моргнув, скажет ей:

— Дайте адрес панны Ванды!

Родства между ними не быть не могло — те же рысьи движения, те же розовые ушки, те же...

Наискосок от школы у махины девятиэтажного дома стояли все. Заведующая, учителя, дети и панна Генриетта. Как спрыснутые в сказке мертвой водой, они застыли вокруг чего-то, плечо к плечу, в совершенном безмолвии. Подошел Сохатый, вытянул по своему обычаю длинную шею и, как малая капля ртути, притянутая каплей большей, — он включился в общий безмолвный столбняк.

Посреди лежала белая, с прищуренными кокетливо глазами Ядвига. Рот ее был открыт для легкого крика, каким кричат девушки, когда их ловят в горелки. Желтоватые зубы без слюны были как клавиши кукольного рояля. Ворот блузки разорван. Из-за лифчика торчали две карточки: на одной — в военной форме усатейший пан, на другой — две головки с звонкозубой улыбкой — панна Ванда и ее сестра.

Пришли власти и, взяв свидетелей, разогнали толпу.

Одна из учительниц показала Сохатому чердачное окно, из которого Ядвигу вытолкнул неизвестный. Впрочем, как и вариант второй, о том, что Ядвига прыгнула из окошка сама, это был вариант только предполагаемый. Неизвестного никто не видал, равно как и полета Ядвиги. Все прибыли к месту слишком поздно.

Занося в текст гибель Ядвиги, автор, предупреждая арифметическую прыть читателя, уже сам сосчитал, что это в его повести шестое свержение с высоты. На естественный вопрос, не слишком ли это много, даже не прибегая к цифрам статистики, руководясь опросом одних очевидцев, ответ будет: нет, по тем годам это вовсе не много.

Что же касается чисто технического единообразия гибели, то и она подлежит экономической базе. Все яды исчезли, вплоть до яда колбасного, за отсутствием колбасы, веревки ушли все на транспорт, а огонь был сведен к ого-

нечку в буржуйке. Что же оставалось гражданам для объективного и личного сведения счетов? Высота и вода.

Сохатый до вечера бродил в городе и только очень поздно, едва волоча ноги, прибрел домой. В его комнате горел свет. Юный Жуканец сидел в центре комнаты на полу с мальштоком в руках. Двенадцать недомерков, каждый под своим знаком зодиака, работали что-то углем на крупных листах. Взмахивая длинной палкой то в направлении созвездия Водолея, то Девы, то Рака, Жуканец заклинательно им кричал:

— Рога! Хвост! Тяни морду... Не свинья, чай, козел.

Действительно, недомерки порождали двенадцать козлов. Над каждым направляющий указательный перст и объявление.

— Сохатый, — воскликнул Жуканец: — ты не ропщи. Мы, правда, не дадим тебе спать до восхода, но да посрамлена будет низость женского пола. Сохатый, я сердечный банкрот. К тому же за неплатежность ко мне кого-то вселили, и негде мне склонить голову. Дай докончить козлов.

— Валяй, — сказал мрачно Сохатый. — Я спать всё равно не хочу. Но смысла большого в козлином хоре не вижу.

— Смысл вскроется завтра! — воскликнул Жуканец.

И недомерки хрюкнули смехом в кулак: завтра...

— Это моя месть Фифиной! Как тебе известно, я Фифину спасал. И, тронутый симуляцией ее чувства, я хотел идти с ней в загс. А она «убрала» на-днях мою комнату, не оставила в ней и тени движимого и смылась, оставив эпистолию: «адью, я себе выбрала нового аматера».

— Дверь же к себе заперла. Ну, ладно, завтра откроет, чем свет. Бью, братец мой, наверняка. Ты только выслу-

шай ситуацию: спрос на козлов до чорта! Хоть от них ни шерсти ни молока — они производители. . . Раскумекай-ка на досуге, финал будет завтра под фифининой дверью. Ай-да, недомерки!

Недомерки домазали хвост и рога, приписали под указательный перст соответственный адрес — определение:

— Здесь имеется случный козел.

Затем, деловито скрутив живопись в трубочку, недомерки двинулись вслед за Жуканцем.

Утром весь коридор восхищенно присутствовал при инсценировке Жуканца, возвещенной особым плакатом:

КОЗЕЛ И ФИФИНА

С Выборгской стороны, являлись финн за финном, с мешечком в руках. Они тяжко топали к номеру комнаты, где еще почивала Фифина, и каждый, выбив в двери частую дробь несгибающимся каменным пальцем, доверчиво кричал:

— Деся луцайный козел? Деся?

При первой дроби Фифина выпрыгнула дезабилье и в холодной завивке, изругала, на чем свет стоит, финна. Но, взглянув внезапно на его мешок, отошла. Финн безмолвно высунул свертки масла и творогу.

— Мы сли по пальцу. Луцайный козел. У нас есть коза.

Фифина к удивлению соглядатаев, недомерков, любезно впустила чухонцев одного, и другого, и третьего. Они выходили от нее, ублаготворенные или свернутой под мышкою скатертью с большими букетами роз или какой иной любимой их женами экзотикой, но с пустым от про-

дуктов мешком. Фифина провожала финнов до самых дверей, звеня голоском-колокольчиком:

— Второй дом от угла. Во дворе. Спросить Федосеича.

Уличенным соглядатаям-недомеркам Фифина сказала:

— Передайте благодарность товарищу Жуканцу. Он, конечно, нам сделал большую приятность деревенскими продуктами.

Через два дома, у некоего Федосеича, действительно, был случный козел. Федосеич создавал этому козлу — опасаясь, что как частный козел, неровен час, он товар контрабандный — практику одной устной молвой, без объявлений.

Тем более зол был Жуканец, что ему предстояло еще одарить недомерков-козлописцев последним сахаром, сваренным из его пайка Феоной Власьевной с прибавкою свекловичного сока.

— Сплошная утечка, — ворчал он, бодая вместе с Сохатым пространства проспектов и площадей.

А Сохатый сказал:

— Нет, мне твой эротический прием ни к чему. Я ведь ищу чувства. Того чувства, что возникает по неизвестным причинам и приносит с собой целый мир. Я, конечно, помню, что я член коллектива.

— И нашего кооператива, куда ты медлишь взносами, а я, как секретарь, распинайся, — сорвал досаду на друге Жуканец. — Понимать пора несоответствие тем блага личного и блага общего... и плюнь, брат, на методы Владимира Соловьева. С идеализацией объекта из лужи не вылезешь. Прими, как я, метод противоположный — плюрализм Дон-Жуана. Меня, брат, при этом методе никакой фифинище не замухрить...

— Какой отдых в чувстве иррациональном, — дышал громко туманом Сохатый. — Один опыт невозможного спасает меня от ощущения небытия.

— Заткнись с своей гнилью, — сказал Жуканец. — Старые дрожжи в тебе закипели от проклятой этой улицы. Тут вот на Вознесенском, да еще на Сенной, сколько кооперативов не лепи, достоевщины не выкуришь. Я давно наблюдаю, как сюда попаду, с интеллигентишкой — непременно зайдется.

— Пожалуй, — согласился Сохатый. — Спасибо на «завод» для рефлексии хоть это осталось.

— Врешь, как в хрестоматиях попугаи. Мы вам и этого не оставим. Ты и твои однолетки— последние, брат, могикане. Ни один комсомолец на этом проспекте уже Раскольникова не помянет. Да еще прикажете с «топором», вдетым в пресловутую внутреннюю петлю пальто». Я, правда, эту психозику знаю, но лишь потому, что мне надо по профессии так читать, как читали вы, — чтоб навсегда. Вроде как собственную жизнь. Дудки! нынешним, браток, одна действительность — книга.

— Сколько бессонных ночей, по крайней мере, у трех поколений, над поставленной там проблемой, — сказал Сохатый. — Над проблемой — посмею или нет? И можно ли, можно ли, даже ежели вошь? В чьей истории этот роман не был эпохой? А сейчас про Раскольникова в лучшем случае говорят: ну, и дурак, на что время терял.

— И правы. Скучно, браток. Если для дела нужно убить, ясно, из нас каждый убьет, а канителиться на пустом месте на целых на шесть частей, да на оба фронта еще дурака свалять. . . это просто *злостный прогул*. Да, в современном восприятии — твой Раскольников не чорт, а —злостный прогульщик. Проблема же, можно ль убить

вообще — для нас и во сне не стоит. И правильно. Да ты чего собственно хочешь? — уставился Жуканец на Сохатого.

— Хочу верить, любить, жить, глупеть...

— Ну, глупеть тебе будто уж некуда, в калошу сел и сиди. Я таких, как ты, без жалости вывожу в своей «Схеме» в расход. У меня, браток, *«схема нового человека»*. Как-нибудь покажу, когда кончу. Тут социализм создает всё новое, а ты, как ленивый мерин, в стойло назад. Я же увлечен слепить такого субчика, у которого «остатков» личных просто-напросто вовсе не будет. Всё до точки в *соцстроительство!* Облегчится, на крылах полетит. И современный быт, сказать надо, весьма удачно работает мне на подмогу. Как затиснут тебя окончательно жилплощадью, защемят подоходным, как набегут, гляди, алиментишки — он в тебе удушится сам собой, твой ветхозаветный. Кругом примеры кишат. И либо подохнуть будет упорным, либо вспыхнуть всеми закорками наивысших ресурсов интеллекта, воли и творчества.

— Пожалуй, что и так. Как пчела из армянского анекдота, — сказал уныло Сохатый. — Снаружи гроза ее хлещет, а ей одно спасенье — в слишком тесный улей влезать.

— Ну, и что же пчела?

— Пищит, а лезет.

. . . .

В конце-концов Сохатый нацелился в провинцию служить массам. Он собрался охотно, не переставая тайно лелеять, что в нетронутой городской порчей среде он скорее обретет и свое, столь желанное личное дополнение.

Укладывать вещи Сохатого пришла известная нам Дарьюшка, у которой вскормленником был товарищ Гло-

бус. Автор сердечно рад ее приходу, потому что, предоставив ей укладку чемоданов Сохатого, он сам в то время одним ударом прикончит обе затянувшиеся фабулы и в дальнейшем расчистит в своем произведении место волнам уже характера общего.

Заворачивая в «Красную Газету» сохатые вещи, Дарьюшка мерной речью поведала ему, что произошло у нее в доме после похода к целителю Епимаху.

— ...Варю, варю ему, батюшке моему, товарищу Глобусу, яички в мешок под тройную под вотчу и верую, что душеньке и телу его они во спасенье. Идет старцева благодать ему *внутрь*. А он, гляди, мой Евгешенька, заболел пуще. Вот и смекаю: конечно, старец блаженный, а что, коль и на него есть проруха? Сказал, что оно наружное звездой мечено, ну, а если между прочим, насквозь? А тут еще во сне мать Евгеши приснилась.

— Та ваша обидчица, что с крученым Жоржем сгинула?

— Ишь, запомнили, батюшка. Он самая. Ножкой на меня топает, кричит: «это ты моего сына в новую хворь вогнала. Ему душу спасать — тело сгубить»! Ох, и маялась я. Послушаться сновидения — Евгешеньке огонь геенский. Ведь и в плиту палец сунешь, волдырем возьмет, а тут, шутка ли целиком да навеки. Я к Феоне Власьевне. А ей что? Вари, говорит, вари под вотчу, раз старец сказал. Зря тебя что ли сводила? На меня еще беду накличешь. А наше всё тело — тьфу! Твоему товарищу Глобусу душеньку надо спасать.

— Хорошо ей говорить — тело, тьфу. А я как вспомню: Евгеша на службу идет, высокий, с нашивками, с орденом. Или сейчас, больной, схилит головку, а у него на затылке

мысочек, бывало, в ванночку его посажу, за эту косичку дерну. И жаль стало мне, батюшка, именно тела его, — видное всё, знакомое, выращенное. То вспомню, как зубки резались, молочные мышке вдвоем отдавали, то шрамчик на лбу, не военный, а тот, самый детский, от худобы выступил, сам с резвости о камни саданул. И грешные у меня мысли пошли. . . Гоню, пуще всплывают. Побилась я мукой между евгешиным телом и душенькой, и биться мочи не стало. Дошла: что своим глазом вижу, то, думаю, и спасу ему. И перестала я под вотчу яички варить. Без молитвы варю, под простой, значит, счет: раз, два, три. Когда до сотенки с грехом пополам доберусь, а когда менее. Непривычно мне—то не дочту, то перечту. А на яичках отражение. И капризиться стал Евгешенька. Что это, нянька, с тобой? Бывало, всегда яйца в точку, а сейчас у тебя либо недогон либо перегон? Слабый он, от болезни, шейка тонкая, уж какой там товарищ Глобус, опять весь один мой, Евгешенька. А капризиться ему очень вредно. Не стерпела я как-то и снова под вотчу наладилась. Уж не ради душеньки его, а для аппетита. Яички с похвалой съел. И, батюшки светы, вдруг температура. Пришел доктор. Может, случайное, говорит, но скорей *возвращенный* кем-то тиф. Сердце мое тук-тук. Кем может быть тиф *возвращенный?* Кроме меня здесь никого. Бах я перед Евгешенькой на колени. Сгубила тебя. Прости бабу глупую. . . И про вотчу ему чисто-начисто. Ну, и хохотал тут Евгешенька. Колики взяли. Ах, ты дура моя, говорит, дура родимая. Да вари ты те яйца, как влезет, под вотчу там или под что другое, только бы были в мешок. И такая легкость меж нами, такое веселье. Евгений же Юрьевич товарищ Глобус, поправляются.

В заключенье Дарьюшка в путь-дорогу гадала Сохатому «на пикову даму» и рассказала замечательное народное

поверье, которое воскресило прямое призвание Сохатого, — собирателя «быта и сказа».

Предание же таково.

Если гадюке человек разобьет голову, а самое ее не сожжет на костре и бросит на землю, то ночью сползутся гадючьи все кумовья и сестрицы и высосут ей из тела новую голову. И уж новой этой головой гадюка ужалит обязательно человека.

ВОЛНА ШЕСТАЯ

Нет, не кончилась «фабула Сохатый» в волне предыдущей, хотя вещи сохатые уложены были Дарьюшкой, хотя на картах вышла ему путь-дорога.

Некто дал свидетельское показание, что при взгляде на карточки, выпавшие из-за корсажа Ядвиги, у Сохатого вырвалось: «Панна Ванда!» Сохатый был вызван на допрос, ему карточки были представлены — но что же? Иллюзорными предстали его впечатления. Изображены были, точно, две польки, схожие с теми, столь близкими его сердцу, но всё же не они.

Следствие, впрочем уже установило, что никакой связи в загадочной смерти Ядвиги с исчезновением тех панн из кафе «Варшавянка» быть не могло. Сохатого отпустили.

Он был разбит и сказал мрачно Жуканцу:

— Какое в романтике отсутствие базы!

Его утешил Жуканец, как мог:

— Обстоятельства личные тебя вперли в период «учета и контроля» — без него же и к первой ступеньке не суйся. А переходить к нам, браток, надобно, потому что *коллектив* — слово нашего века, а не выдумка кабинетных

голов. Сам же понял ты про пчелу — пищит, а лезет. Критика чувств идеальных — начало контроля. Поздравляю, брат, с «первой ступенью».

И Жуканец предложил Сохатому сотрудничество в одной твердой схеме, основанной на учете, освобождающем от томлений по осужденному на смерть голубому цветку Новалиса.

— Однако, прежде чем приступить к работе, пойдем вечером в Большой Драматический на экспозицию конца романтизма.

Жуканец молол о конце, охваченный самомнением новатора быта, каким он себя почитал, но, по жестокому капризу судьбы, брехня его оказалась пророчеством: выступление Гаэтана перед публикой было последним.

У каждого десятилетия есть своя равнодействующая и есть артист, исполняющий арию большинства. Артист бывает некрупный, бывает великий. Гаэтан был величайший и точный выразитель сердцебиения своей декады. Клич, поднятый Чеховым: «В Москву, в Москву!» и сейчас разрешаемый пожиманием «молодежных» плеч (взяли бы, дуры, билет и поехали), когда-то был внятным символом и в МХАТ-е первом, тогда единственном, волновал сердца.

Гаэтан клич подверг дифференциации и уточнению. Не Москва, конечно, с рестораном Тестова, сандуновскими банями, царь-пушкой и колоколом, а в «Москве» — символе каждый ждал себе «прекрасную даму». И вся Россия, от вызванного Чеховым к жизни почтового чиновника до почтеннейших членов религиозно-философского, кто скрывая, кто признаваясь, стали ждать «Великую встречу».

Были такие, что уже, на случай встречи под дождем, понадевали калоши, и, убежденный этим резиново-мануфактурным реализмом ожидания, воскликнул один непро-

зревший поэт: «они ее видят, они ее слышат... даже не сомневаясь, точно ли».

Все, как одержимые, захотели одного — совпадения мечты с реальностью, Альдонсы-скотницы, с сладким звуком владычицы сердца Дульцинеи Тобозской.

Мигуэль Сервантес, охолощенный В. Соловьевым, через века предложил снова мечту, как верное средство для создания лучшей реальности, ибо, очищая и вознося другого, допустим — иллюзорно, сам-то очищаешься подлинно. И хотя бы только поэтому — мечта, как *основа ткани грядущего,* должна быть введена в бюджет.

Итак, служением Прекрасной Даме, тоской об утрате ее, мечтой о соединении с ней, полны были песни ее последнего рыцаря — Гаэтана.

Да, Чехов первый дал клич «в Москву». Соловьев, среди отчаяния и опустошенности декадентства, открыл «Деву радужных ворот», но женихом был не он. Он только обучал любви, ею не заражая, как опытный гид. Гаэтану же встреча с Прекрасной Дамой была уже не темой, не умозаключением, даже не выбором, а просто единственной возможностью жить и дышать.

— Весь дух простер, в тебе спасенье...

Как Данте, возник он средь пожарищ, «обожженный языками преисподнего огня». Это он создал музыкальный аккомпанимент к волшебному роману «Идиот» и еще однажды взволновал современников утверждением, что для того, кто зовется человек, *норма* есть *выхождение из всех норм.*

В призрачном уличном кабачке, среди завсегдатаев с масками Верлена и Гауптмана, и семинаристом, удержанным из персонажей Достоевского, все изливают душу половому в лунатизме винных паров и в музыке гласных.

Здесь всё голубеет, всё кружится. Плывут корабли на обоях, потолок же и стены расступаются в бесконечность. Заплетающимся языком семинарист мечтает любить, как никто, или как уже любил до него Митенька Карамазов. А поэт пьет, изливаясь половому.

Среди вихря взоров возникает внезапно, как бы расцветает под голубым снегом одно лицо — единственно прекрасный лик Незнакомки. . .

Половому же всё это «непонятно-с, но утóнченно-с».

В этой музыкальной карусели звучало современникам всё многообразие русских воспетых трактиров и томила мечта о прекрасной, неразработанной жизни.

Сохатый часто видал Гаэтана, но запомнил его на всю жизнь только дважды. Первый раз, когда он читал проездом на юге, и вот этот последний. Гаэтан для сверстников Сохатого был событие, а Жуканец уже его не понимал. Выростая в полосе восприятий романтического, аналогичной той, когда молодой человек Писарев бранил Пушкина, Жуканец разбирал «сюжетно» и там, где сюжет был несказуем, и в попытках его оформления, зиял пустым местом.

Сейчас, идя с Жуканцем по скучному проспекту Нахимсона (обыватель прибавит: с собором того же имени), Сохатый восстановлял в мыслях тот первый памятный вечер на юге.

Гаэтан еще был красив и кудряв, волоса золотели рыжинкой. Волоса были совершенно живые. Он взошел на эстраду с разбегу, издалека, и, не отстоявшись, внезапно и трудно сказал:

По вечерам над ресторанами
Горячий воздух дик и глух. . .

С третьей строчки звук стал собранный. Жесток, объективен, с упором на гласные. Звук гравировал в сердцах публики всё, что поэту привиделось на здешнем и дальном берегу. Слушатель млел от лирных волнений, бросаемых ему золотым богом как дар. Гаэтану был зрительный зал чудесно резонирующим инструментом в ответ на абсолютно взятые ноты. А зал приведен был в восхищение, как себе удивившийся рояль, вдруг вообразивший, что на нем не играют, а он звучит сам.

При одной памяти о строках, внешне собранных и однотонных: *Дыша духами и туманами* — внутренно полных тоски, волнений и несказанного ощущения чуда — Сохатый остановился и сказал:

— Не пойду. Зачем умалять то впечатление. Ведь он оставил Даму, ему вялой прозой стала роза, соловьиный сад угас. . .

— Не валяй, дурака, — повелительно буркнул Жуканец и втащил приятеля в вестибюль, который по стилю предполагал за собою не театр, а бальную залу.

Вошли в набитый людьми партер и сразу, как в мутную лужу, попали в шопоты:

— Посмотрите, в той ложе мать. . .

— А вон там и Кармен и *она*. . .

На сцене извивался, закручиваясь вокруг себя самого, как веревка на столбе гигантских шагов, высоченный человек. Он то прядал на публику, весь изламываясь в позвоночнике, подобно червю-землемеру, то выбрасывал в своеобразном ритме одни долгие руки вперед, или вдруг он сжимался и весь делался меньше.

Этот памятный человек, талантливый критик и невыраженный поэт, с особым даром прошагивает в людей,

факты и вещи, чтобы — мастерски кинув оценку, как дегустатор, тонкий отведчик вина, уйти ужом.

Трагедия его дара была в невозможности того созерцательного оцепенения, необходимого, чтобы зачатое лирически дало свой рост. Как нетерпеливый мальчик, освобождающий раньше срока закутанный зеленью гиацинт, он спешил называть, острить, сверкать и шуметь, и спугивал птицу вдохновения, которая к нему, несомненно, прилетала. Потом, с тайной болью и внешней легкостью, он размашисто писал об ней — улетевшей.

Нет, это было не случайно и не раздражающе, как сетовали иные «корабельцы», что человек этот вышел дядькой при Гаэтане на похоронах романтизма. Был бессознательный вкус в том, как он путался, смущался и нес так явно не то, что предполагалось. Именно от этого косноязычия получилось живое — не «вступительное» слово на сорок пять минут, а волнующая по чувству и не находящая формы защита. Это было безнадежное и любовное разведение рук. Длинные простертые руки вслед уходящему романтизму.

А Гаэтан вышел не так, как тогда в Киеве, не издалека, не с разбега вбежал он на кафедру. Его, упирающегося, вытащили из-за кулис театра, и говорить ему так не хотелось. Он необычно долго для выступающего молчал, поглядывая вбок. Казалось, он соображает, возможно ли ему даже не начиная — уйти.

Сразу отметил Сохатый, что волосы у него почему-то не кудрявые, не живые. Волосы умерли. И лицо Гаэтана, еще не старое, сморщилось как у немецкого перестарка из аптеки.

Ему повелительно крикнули сверху и снизу:

— Скифы! .. Двенадцать! ..

Он перебирал на месте ногами и молчал. Потом вздохнул и сказал:

— Стихи о России.

Но читать их не стал.

Требования из публики усилились. Он поднял голову. Притихли. Он сказал не то, что просили, не то, что выбрал сам, а из самого первого тома, о том, как пела девушка в церковном хоре, как корабли ушли в море, как никто не вернулся назад.

Голос был тверд и беззвучен. Таким говорят очередную речь над не слишком дорогим покойником. . .

Так он ходил на заседания, так он читал последнее время лекции, так носил за крепкой, прямой спиной большой паек из Дома Ученых. Так сейчас, будто бывший поэт, он отбывал пред людьми стихотворную повинность.

Плакала рядом с Сохатым, не замечая, что плачет, молодая женщина и одновременно шептала. Он скорей угадал, чем услышал:

Уже не шумный и не ярый,
В последний раз архангел старый
Влагает белые цветы. . .

Этот последний выход Гаэтана встал снова перед всеми у его скорого гроба.

Быть может, и даже наверно, он лежал, как все покойники, на обыкновенном столе и возвышался над людьми обыкновенно, но запомнился ракурс его лица, как от очень большой приподнятости. Узкие ноздри и незакрытый рот, разорванный уже неслышными криками.

Горели желтым огнем свечи, художники делали с покойника зарисовки, оскорбительно стилизуя. Стояли писатели. Они несомненно твердили мысленно из него же:

Иль на возлюбленной поляне,
Под шелест осени седой,
Мне тело в дождевом тумане
Расклюет коршун молодой.
Иль просто в час тоски беззвездной
В каких-то четырех стенах
С необходимостью железной
Усну на белых простынях.

Глаза у всех были толстые, с непролитыми слезами. Эти поминки Гаэтана его же стихами были безмолвны, непредустановлены, согласованы вдруг.

День похорон выдался синий. И солнце осеннее, яркое, без жары. Несли открытый гроб. Окаменевший профиль поэта был как бы высечен в горном хребте на синеве неба.

Шли обычным медленным шагом, а странно запомнилось, будто — стремительно. Будто впряглись в колесницу и мчались. А сзади вслед реяли золотые ленты. Так запомнилось. Остановились автомобили вдруг. И кони, и люди. Золото парчи отливало на солнце металлом. Поэт мнился рыцарем, высоко вознесенным на щитах.

И одни стихи, ему посвященные, отразили это впечатление в междустрочном уподоблении Лоэнгрину:

Принесли...
Наше солнце, в муках угасшее —
Александра, лебедя чистого.

Мертвый, он уже не был похож на себя, он весь перешел в свои книги. А человеческое сходство, по определению его матери, как могло быть только в чудесном творчестве Гофмана, — перекинулось на издателя его книг.

Еще дважды, в такой же день крепкой осени, каким был день его похорон, окаменевший профиль поэта увиделся автору на синеве неба, на севере им воспетой Италии.

Хребты гор были густо в снегу, а бурные речки мутно-зелены. Над островерхими колокольнями чернели фортеции. Оттого, что не было серебристой дымки, как на юге, весь пейзаж вставал отчетливый, тонкий, как рисунок пером, протертый белилами. И отрадна была глазам яркость густо-желтых стручков перца, для сушки воздетых на палки. Высоко древний замок с бойницами, сине яркое над ним небо. На небе силуэтами снежный горный хребет, как эхо повторяющий архитектуру древнего замка. А на южных оврагах, в зеленых долинах — поет ручей, цветет миндаль. . .

И вдруг сами собой, твердые, с присущей голосу Гаэтана убеждающей страстью, однотонной, как этот гравюрный пейзаж, сказались его стихи:

Не верю, не пройдет бесследно
Всё, что так страстно я любил,
Весь трепет этой жизни бедной,
Весь этот непонятный пыл.

А в газете были занесены, как вчера, все происшествия дня. На желтой бумаге, слепой, тусклой печатью сообщалось о том, что скандинавские государства готовы оказать помощь, если совласть демобилизует красноармейцев. Газетчики выражали еще свое презрение мелкобуржуазными словами и навыками: «Эти милостивые государи, которые готовят удар для советской России, показывают свое благородство, раскрывая себя, как настоящих Шейлоков» (еще предполагалось обязательным знание Шекспира).

Остался в памяти анонс расширенного заседания пленума Петроградского Совета, как в тот год еще писалось, полным титулом, Рабочих, Крестьянских и Красноармей-

ских Депутатов: «Доклад комиссии помощи голодающим. Трамвай обеспечен в оба конца». И непосредственно, как будто продолжение текста:

СЕГОДНЯ, 12 АВГУСТА, СОСТОЯТСЯ ПОХОРОНЫ

ПОЭТА

А. А. БЛОКА

На третьей странице газеты объявлялся постоянный конкурс на поэтические произведения. Литотдел Наркомпроса определил за лучшую поэму ***один миллион.***

И подумалось: Пройдут года. По капризу истории останется от всего нашего времени вдруг одна только эта газета, и восславит на ее основании грядущий изыскатель наш век, не как ему подобает —веком переворотов социальных, а веком небывалого почета искусства, когда в день смерти поэта объявлялась награда в миллион продолжателям его дела. Тем естественнее будет грядущему историку утвердиться в своем положении, что немного пониже, в отделе особых распоряжений, в газете стояло: «*Обезличивание* мебели в Петроградской губернии прекращается».

Грядисторик скажет, конечно, на ином, нам еще неведомом языке, но по смыслу приблизительно так:

— В начале XX века расцвет индивидуализма был так велик, что властям заступаться приходилось уже не за людей, ни даже за животных, в интересах сохранения их лица и характера, а лишь только за предметы неодушевленные.

Жуканец сказал Сохатому после похорон Гаэтана:

— С ним кончилась любовь. Будут, конечно, возвращения, но *так* воспеть, как воспел ее он, никто уже не

сможет и... и не захочет воспевать. Эта страница закрыта с ним навсегда. И еще скажу — прочитанная вашим поколением, поколению нашему она уже совсем не звучит.

— Что же взамен у поколения вашего?

— Коллектив! — сказал твердо Жуканец. — Повторяю, это не выдумка, это клич нашего века. Дай срок, мы в коллектив всё сгребем. Перемелем, процедим, отберем жемчужные зерна. Ты только послушай, Сохатый, разве не грандиозно, не увлекательно, ну что ни тронь... хоть социализацию нархозяйства...

И путь так торжествующе ясен — слияние крепких совтрестов таким образом, что в каждой отдельной отрасли социализируемого производства останется лишь *один* трест. Следующий этап — ряд таких мощных трестов, примыкающих друг к другу, объединяются в комбинаты, уже не знающие себе конкурса на рынке. И, наконец, вершина пирамиды — окончательное слияние комбинатов в один последний, единственный, всеобъемлющий. Он завершит социализацию народного хозяйства.

— Что ж, грандиозно, — процедил Сохатый. — А вот как с человеком? И пирамидой не разрешить вам запросы личности.

— Разрешим, Сохатый! Один в такой мере напитан будет всеми, что станет, как в море волна среди волн. Набегает вал на скалу, разбивается — и опять безущербное целое.

— На то и закон жидких тел, — согласился унылый Сохатый. Но ведь я...

— Ну и ты не дешевле Фонтанки. А она, браток, с Невой прямо в море. Ergo, выползай из норы и валяй с нами в ногу. Ать, два! Надо такой выстроить коллектив, чтобы для одиночной закрытости только чуть чуть...

— С фиговый лист, — ухмыльнулся Сохатый, — ну, а с любовью-то как при упразднении личсклонностей? В графу конзаводов ее?

— Не глупи, а учись. Любовь, как личная склонность, примет иную форму, и сила ее будет, не разрушая, не поглощая, *только множить собою тонус жизни. Та же, ваша любовь умерла с Гаэтаном.*

После смерти Гаэтана пошли до странности быстрые, как бы нетерпеливые завершения всех тех горячих, кто силы свои должен был и мог сложить только с веком уходящим.

Под вечер один поэт, с лицом египетского письмоводителя и с узкими глазами нильского крокодила, шепелявя сказал обитателям Сумасшедшего Корабля:

— У кого есть что-нибудь для секции детской литературы, принесите мне завтра.

Ночью его арестовали. Никто не знал, почему, но думали — конечно, пустяки.

Не текли, спрыгивали дни один за другим, с усилием прыгунов на стадионе в состязании на длину. Как им, только в самом начале надо было сделать усилие, чтоб потом лететь по инерции и врыться в песок, так и корабельцам труден был лишь первый миг утреннего вставания в обхвате холодного голода. С огоньком буржуйки энергия приливала и уже носила до вечера по учреждениям, заседаниям, выступлениям. Еще не у всех были академические пайки, и осаждали «Генуэзскую крепость», заведующего ими Волосатика. Волосатик же кого огорчал, кого радовал.

А в нижнем этаже Сумасшедшего Корабля своим чередом шли балы. В залы бесвкуснейшей роскоши набегали в нарядах стервозочки с улиц. Начальствующая над писателями прислуга бывшего дома Ерофеевых, тряхнув стари-

ной, облекалась в лакейские фраки и перчатки снежной белизны. Став снова лакеями, они подавали стервозочкам блюда, каких не могли есть писатели. Они, как музыку, ловили звоны ножей о стакан с былым возгласом: Ч-эк! И отдыхали на миг в былом твердокаменном бытии. Хоть на один вечер опять они были не постылые граждане, а понятные прежние «люди».

За залами, в интимной гостиной, любимец Корабля, Геня Чорн, ставил в сотрудничестве недомерков, по инсценировки Вовочки, новый вариант на «Бриллианты пролетарского писателя Фомы Жанова».

Корабельная прима-красавица Ия, предмет мечтаний на побывку с ней в загсе юнцов, изображала проституточку Соньку Ноган. Эта Сонька Ноган, распропагандированная культкомиссией, став гражданкой и перейдя на честную труджизнь, сочла долгом сообщить в ВЧК, что у одного из ее бывших гостей на подштанниках была графская корона. Эта корона оказалась истинной сущностью, утаенной в анкетах, пролетарского писателя Фомы Жанова. Роль Фомы Геня Черн назначил выполнить приехавшему из Москвы на гастроли писателю Сосняку. ВЧК приказала Соньке Ноган принести ей поличные с графской короной. Сонька шагнула на писателя Сосняка, симулируя жестами исполнение предписания, и — «тушить свет!» — щадя целомудрие зрителя, крикнул Чорн. Сосняк, взволнованный красотой Соньки, ожидая легчайших ее касаний, встав со стула, пошел сам навстречу событиям. Сонька взвизгнула. «Свет обратно!» — крикнул Чорн и педагогически сказал Сосняку: «Ваша роль, товарищ, определенно пассивна и эпизодична. Прошу сесть обратно». Сосняк, взбудораженный чарами Соньки Ноган, загремел мимо стула на штучный паркет, но не потерявший присутствия духа Геня Чорн вызвал скорую помощь. Трем недомеркам, вставшим на че-

тыре ноги, был возложен на спины Сосняк и вывезен в анатомический для ампутации ног и рук.

Грохотал смехом зал. А поглубже в коридорах, у входа, две трепетных женщины ловили уходящего на заседание коммуниста кавказца.

Да, они знали, что их просьба бессмысленна, что кавказец работает в учреждении вполне штатском, но всё-таки как коммунист он был ближе...

Вперебивку они шептали:

— Ах, не взяли у нас передачу...

Кавказец с акцентом сказал:

— Зачэм и не взяли, что сыты. Там кушают хорошо!

Оттого, что кавказец говорил ласково и с акцентом, показалось, что опасного быть не может ничего, и женщины успокоились до завтра.

А на завтра, хотя улицы полны были народом, они показались пустынными. Такое безмолвие может быть только в степи в жгучий полдень, и еще когда в доме покойник, и живые к нему только что вошли.

На столбах был расклеен один, приведенный уже в исполнение, приговор. Имя поэта там значилось.

Никто никому ничего не пояснял. Не спрашивали. Не толкались. К уже стоящим недвижно подходил новый, прочитывал — чуть отойдя, оставался стоять. На проспектах, улицах, площадях возникли окаменелости. Каменный город.

Опять запрыгали дни, как состязатели на скорость. Час пробуждения только делался всё трудней, потому что наступила зима.

Едва просинело весеннее равноденствие, о котором напомнили базарные бабы, упорно напекшие жаворонков с коринками вместо глаз, как на столбах, углах и стенах

появилось объявление, потрясшее воображение граждан, уже усвоивших стремительность тех лет и поневоле нечувствительных к разросшейся рубрике происшествий.

Здесь необходимо отступление. Настойчиво, как лейтмотив герою в операх Вагнера, в этом месте хроники, предстает автору некий город одиночка — Сен Бертран де Комменж, в горах, подбежавших к самой границе Испании. Ведь кроме музыки сопровождают и синтезируют человека и прочие все искусства.

Редчайшим людям, себя завершившим до конца — соответствует архитектура.

Вышеуказанный город стоит нарочитым памятником, какой мог бы аукнуться в новых Correspondances Бодлера с нашим своеобычным художником слова, который даже свое объявление на столбе написал так, что ступить дальше нельзя нам ни шагу, не помянув прежде его самого.

Целым городом и сделаем ему поминки.

Из лиловой мглы глубокой долины Гаронны, на вершине одинокой горы, возникает пред путником строение иберийцев — древнейшая крепость в честь кельтического бога солнца.

После вековых войн, предательств, захватов — на равнине этой крепости Бертран де Лилль вывел романского стиля собор. Резная романская старина двенадцатого века заключена, как в футляр, в грандиозный готический кузов века четырнадцатого. Внутри без конца легкие своды, а трубы органа как мачтовый лес. В несравненной резьбе мореного дуба предстают посетителю все наслоения истории и незатейливый быт городка вплоть до экзекуций блудливых монахов. Вот они дерутся на спинках сидений для хора, а вот уже постигла их кара, закрепленная в резьбе кресельных ручек. Со смаком сечет свою жертву по

точеным с предельной реальностью формам сам приор. И дань романскому остроумию, — голые ягодицы виноватого — в то же время являются удобной точкой опоры молельщикам для локтей.

В этом древнем храме не поймешь кому кланялись: рядом с торжественным балдахином над ракой святого распластана крокодилова шкура. Крокодил занесен крестоносцами.

Сотни древних сивилл, чертей и пророков. Весь штат великолепных дам Франсуа Первого, о чьих любовных делах повествует подробно библиотекарь, гордясь одинаково ими, святым Бертраном и будто тоже святым — крокодилом.

Библиотекарь элегантно читает фривольные изречения в западной галерее, знаменитые непереводимые латинской игрой слова. А выведя туристов наружу, он с наслаждением ценителя большого разбега и с улыбкой гурмана на древнем лице читает надпись уже современную:
— Заведенье ослиц.

— Не ослов, заметьте — ослиц. Их отдают здесь в наем для поездок в горы.

И не без парфянской стрелы по адресу прекрасного пола, прибавил старик:

— Хоть мы славимся галантностью, но что же поделать, если, знаете, ослицы спокойней ослов и в них меньше упрямства. Извините, я люблю ставить точки на i.

Едва библиотекарь святого Бертрана улыбнулся со старомодной светскостью, подмигнув озорством, как вдруг на его месте уже бесспорно увиделся нами писатель *наш*.

Невысок, глянцево-лыс, с лицом единственным, старой слоновой кости, объединившим в тончайших оттенках куль-

туры древне-романскую и китайскую, он упрямо, по своему повторил:

— Да, я люблю точки над і. Я назову клопа клопом — клопу клопой...

Еще пронзительней, еще окончательней воплощенным встал этот писатель нам рядом с библиотекарем, когда тот предложил сдержанным монашеским жестом глубокую долину Гаронны вообразить себе полной римских воинов в пурпуре, с золотыми щитами. Эрудит углубился в древнейшие времена, но чей-то глупый гид прервал его речь, тыча пальцем в амбразуру из вьющихся роз и вопя, как вопить могут одни лишь базарные бабы в догонку сбежавшему вору:

— Ее дом! Дом второй жены маршала Жоффра!

Библиотекарь поднял палку и, не двигаясь с места, не повышая голоса, сказал только одной интонацией (как умел делать наш), безапелляционно бросая гиду с туристами — дурака.

— Ни до второй, ни до первой жены маршала Жоффра никому решительно нет дела.

А повернувшись к нам прелюбезнейше:

— И так реки Гаронны и Пика внизу сливаются вместе, а на них смотрят горы как бы с картины нашего Рериха — отдельные и странные. А волы здесь, отметьте, в попонах с бахромой над глазами, и увенчаны особым ярмом, как короной...

То же объявление, расклеенное в памятный первый год нэпа, начиналось так:

«Лиц, бывших свидетелями несчастного случая на Тучковом мосту вечером, когда женщина была вынута из воды...»

Уже по словорасположению этих первых строк, так не похожих на газетные безглазые объявления, еще не дочтя, угадывалось, что это о ком-то знакомом, своем. Поэтому читалось это объявление не сразу, а по кусочкам, во всю длину от Сумасшедшего Корабля к Тучкову мосту, куда сами собой понесли ноги.

«Лиц, бывших свидетелями. . .»

Это начало. Немного дальше, когда глаза, невольно скользнув на адрес, уже вызвали в памяти погибшую, на столбце следующем подробные и безжалостные строки восстановляли в точности ее образ.

«. . .Ушла из дому в сером пальто, красном, с черной обшивкой костюме, в серых валенках. Приметы: лет сорока, худенькая брюнетка, черные волосы, большие глаза. На руке обручальное кольцо».

Женщину искали водолазы, но не нашли.

Свидетели, которые были на мосту в час ее гибели, показали, что она кинулась в воду, выкрикнув кому-то:

— Прости мне. . .

Но он ждал. Он приходящих близких просил:

— Поговоримте о ней. Посмотрите, она будет довольна, как я ей убрал библиотеку.

Он говорил о ней в настоящем времени. Он приказывал накрывать для нее прибор.

И она пришла. Через полгода художник, их знакомый, живший в том же доме, куда переехал после печального события и поэт, шел по берегу реки. У самого дома он приметил толпу. Подошел. На большой льдине лежала женщина в том костюме, который был описан в объявлении.

Только черных волос у ней больше не было. Волосы, от природы слабые, выела вода. Голова была белая, как

болванка парикмахера, как колено. Но он ее узнал. Он пошел и сказал мужу-поэту.

Тот не удивился. На минуту окаменел. Его лицо желтой слоновой кости стало белым. Но поступью патриция времени упадка он важно прошествовал к трупу и, сняв с ее руки обручальное кольцо, надел на руку себе.

Потом он опять жил, потому что он был поэт, и стихи к нему шли. Но стихи свои читал он несколько иначе, чем при ней, когда объезжали вместе север, юг и Волгу и «пленяли сердца». Он больше пленять не хотел, он с покорностью своему музыкальному, особому дару, давал в нем публичный стихотворный отчет, уже ничего для себя не желая.

Входил он к людям сразу суровый, отвыкший. От внутренней боли был ядовит и взыскателен. Смеялся ж беззубо, не по-стариковски, а по-детски или как лысый японский идол. За ужином сердился на хозяйку, что пьют за его здоровье, а, в заботе, что ему пить вредно, вина ему не дают и ставят его в глупое положение.

Он пришел к знакомым звать на завтра к себе на рожденье. Там были гости — мать и дочь-балерина. Мать моложавая, прямая, с необыкновенным цветом лица, дочь — газель. Старик оживился, шутил чуть по-передоновски, но и не без старомодной, ему одному свойственной светскости.

Шли домой. На мосту Революции была мгла. На реке много барж, огоньки. И вдруг совсем ни к чему старая дама сказала:

— А всё-таки бессмертие ни доказать, ни опровергнуть. . .

Старик-поэт усмехнулся:

— А зачем вам бессмертие? Что вы с бессмертием

сделаете? — И замедляя шаг, чтобы отдышаться, сказал из себя самого:

Когда меня у входа в Парадиз,
Суровый Петр, гремя ключами, спросит:
— Что делал ты? Меня он вниз
Железным посохом не сбросит.
Скажу — слагал романы и стихи
И утешал, но и вводил в соблазны,
И вообще, мои грехи апостол Петр, многообразны.

На завтра было его рожденье, и приходили с цветами. Он молча взял цветы и, прошаркав туфлями к вазам, проворчал:

— А вот люди обыкновенные, которых пренебрежительно именуют — обыватели, когда сочтут себя бесполезными, то берут и вешаются.

Та, вчерашняя дама, оказывается, пришла домой, и когда мы уже спали, она поставила на стол табурет, потому что крюк от люстры был высоко, и повесилась.

Она просила в записке прощения, но жить ей было нечем и не для кого. И шла старость с болезнями.

Поэт сказал:

— Это она от меня. Если б меня вчера не было, она бы еще подумала и, быть может, раздумала. Это я ей прибавил. В индусских сказаниях стоит: «Бойся тяжелого сердца. Твоя тяжесть может оказаться кому-нибудь той последней соломинкой, которую, если прибавить на спину к общему грузу, который и без тебя несет уже каждый человек — он себе сломает хребет». Это я вчера ей сломал своей мыслью хребет. Вокруг меня смерть.

— Амба! — хлопнул на этом месте Жуканец по столику кулаком, пробегая черновик «Сумасшедшего Кораб-

ля». — Довольно топтаться в соснах романтизма, долбя как молитву стишок: «Каждый душу разбил пополам и поставил двойные законы». Точечка-с.

Жуканец уже больше не юный. Он издает свой том пятый, он прославлен, мастит. Он редакторским властным жестом отчеркнул чернильным карандашом то, что было у автора дальше, и категорически обнародовал:

— Быльем поросли дуализмы. Кто желает в наше *сегодня,* пожалуйте, скушайте символ-викторину. Вот он, послушайте-с! В антрактах культфильма «Научэкспедиция в тайгу» его распевают мальчишки:

Кто не ест, кто не пьет,
Менолит стерегет?
— Профессор Кулик!
Кулика тра-та-та...
Еду́т комары.

ВОЛНА СЕДЬМАЯ

В летописи мира, хранительнице вымерших цивилизаций, всё, что, уйдя из жизни, отпечатлело свой лик и свое слово во времени, закреплено медиумизмом больших художников — средневековье Божественной Комедией, старая Испания — Сервантесом.

В Сумасшедшем Корабле сдавался в архив истории последний период русской словесности. Впрочем, не только он, а весь старо-русский лад и быт. Точней сказать, для быстрейшей замены России четырьмя буквами С.С.С.Р. ампутировались еще не изжитые временем былые формы. И как сводка работы русской мысли и воли к жизни предстали Четверо. Они заканчивали кусок истории.

Четверо — Гаэтан с «голубым цветком» Новалиса, пересаженным в отечественный огород. Инопланетный Гастролер, с своим «Романом итогов» русского интеллигента, матерой мужик Микула, почти гениальный поэт, в темноте своей кондовой метафизики, берущей от тех же народных корней, что и некий фатальный мужик, тяжким задом расплющивший трон. Четвертым сдавателем был Еруслан,

тот, чья воля была, как у Васьки Буслаева, разукрасить нашу землю, как девушку. «Обнял бы ее, как невесту свою, поднял бы я землю ко своим грудям»...

Он пришел, как рабочий и вместе интеллигент. И еще: он пришел не как отдельный человек, а как синтез, предваривший свершение революционных событий. Он сплав интеллигента и рабочего в гармоничное целое и стоит в последнем десятилетии, как славный памятник, и как укоризна истории, потому что он — встреча двух классов, и встреча без взаимного истребления.

Мы им гордимся. В разрешении больного вопроса: интеллигент *или* рабочий, — или-или им было зачеркнуто.

В том же, что он — не только *личность, но и синтез,* порукой нам *его ноздри.* Кто ходил по фабрикам и заводам, тот видел, сколько рабочих отмечено его ноздрями, моржовым усом, крутым упрямым затылком, всем особым рабочим ритмом его стройного долгого тела. А вот улыбнется (знает как улыбнуться) — тончайший интеллигент и, вообразите, европеец.

Темперамент чистый, сильный, полный страсти, без свидригайловского «бобка» разложения, он в русской литературе встал во весь рост по праву художника.

Внешне запомнился он давно, еще в Ялте — молодой, длинноволосый, в неизменной черной мягкой рубахе. За ним по набережной толпой влеклись женщины, и казалось, он и отмахивается от них длиннейшими руками, и в то же время сам их куда-то влечет.

Прозвали его свиту — «максимовки», в отличие от других яблок, антоновок. Те, антоновки, катились вслед Чехову.

Старый желтый книжник-караим, не покидавший скамейки перед своей табачной лавкой, как-то бурно срывался

и кланялся издали, завидев, даже не его, а всего лишь его преддверие — Кричальца, пониже ростом, пародировавшего его рубашку и внешность.

Сейчас, давно маститый, европейский, он приехал. Встречали его барабанами, хорами, пушкою, бубном. Портреты его, почему-то одной синей краской на белых полотнищах, колыхал день и ночь ветер поперек Кузнецкого моста. И сказал, на них указуя, один старый рабочий не без горечи:

— Вот, поработал он на нас и дождался: расписали синькой его, как удавленника, да грохнули пушкой, как царю, либо покойнику, — чай, живой, поживет еще.

Крупный своенравный человек, он не хлопотал о собственной биографии. Не подчищал с осторожностью каждый жест, чтобы привести его в согласование с жестом предыдущим и создать из себя тот лакированный облик, в котором иной деятель соблазняется себя закрепить.

Он высказывал одни свои суждения и совсем иные, как разнообразный, изменчивый и совершенно живой человек. Узколейники, помнится, его жалили. Между тем он себя не берег. И была в нем беззащитность, как у забывшего оружие воина.

Он не умел маневрировать, выбрасывая скепсис перед каждым явлением, чтобы дать возможность и время суждению отстояться.

И, помнится, еще на страницах журнала символистов определил метафизик его «тайную сущность», как тогда любили писать, не «монадой», а «диадой» — началом женским. Выражаясь менее выспренно, скажем: основное свойство Еруслана — *художник.*

Это свойство художника принимать в себя, пронизываться природой объекта, сделало то, что он мог уже

тогда, раньше всех, со всей искренностью чувствовать одновременно за «нас» и за «них» и с одинаковой силой защищать перед «нами» «их», а перед «ними» «нас».

Словом, когда вступило в силу правительство *«его»*, он лег мостом между ими и нами.

Сейчас позабыли, но мы все *прошли по нему*.

Осенью двадцатого года его усилиями открыт был для нас Сумасшедший Корабль, и Дом Ученых, и многое еще. . .

На открытии Сумасшедшего Корабля президиум так потрясен был прибавкой к морковному чаю карамелек и печенья, что добывшего их человека, как подающего большие хознадежды, единодушно выбрал товарищем председателя, хотя он с литературой ничего общего не имел.

Но хознадежды им были оправданы, и писатели через день получать стали дрова на топку буржуек.

Отоплялись, оживали. На заседаниях спали уже не всегда.

Однажды этаким хлёстом влетел некто с контролем от Изо.

Затыкаясь своими же словами, как мелкими пробками, вылетающими под напором ленивого газа, он с гневом вопросил, озирая зал с зеркалами, всех писателей и Еруслана:

— Золотой дождь получаете? А польза от вас коммунистическому обществу где? в чем? Не в искусстве же вашем — писать?!

Еруслан курил и окурки гнал в столбики. Повыся ярость, стал закручивать петухов из бумаги. Потом поднял вдруг голову, с силой отбросил затылок, как морской лев, вылезающий из воды, встал верстой над столом и рубнул:

— Возражаю не вам, конечно, а по существу. Служба искусству и есть служба пролетариату, потому что...

И понесся.

Давно, между тем, надлежало отбыть заседанию писателей, уступив длинный стол, с еще непохищенным темно-зеленым сукном, заседанию следующему — военному. Но Еруслан, в благородном вдохновении, гневно окая, всё продолжал открытие Америк вдруг всеми забытых положений.

Представитель ведомства военного, чей черед открывать заседание роковым образом истекал, восхищенный фонтаном таланта оратора, когда заведующий ему стал приносить извинения, сказал так, как ему, военному, сказать подобало — наполеоновски лапидарно и насыщенно:

— Мы, точно, сейчас потеряли миллион (плата за взятое помещение), но зато мы услышали весь полный голос русской литературы.

Это же свойство художника— протекать, совершенно внедряться в явления — послужило ему, чтобы вылепить живого Толстого, какого не вылепил нам никто.

Когда он читал нам свои воспоминания, было похоже на чудо. Он нашел какие-то простые, самые первые слова. В строках и еще поразительней между строк он дал не описание человека, а нечто большее — *его музыкальный строй*. И потому слова, им найденные, не литература, а жизненная ткань. Только писатели могут оценить, как много сгущенной воли для вызова к жизни, как много чувства и силы таланта надо затратить, чтобы суметь *так* показать человека, выхватить его живьем и приблизить, не выпячивая себя самого, не сфальшивя ни на волос.

И, как редко, писатели слушали без корысти. Наслаждались сладкой болью искусства удавшегося.

Дойдя до смерти Толстого, он остановился и дальше не мог читать. Сила и правда вызванного образа, как на колдуна, забывшего слово в увлечении ворожбой, ухнула вдруг на него самого, и он оказался уже не писателем, а собственным читателем. Он вышел, чтобы не заплакать при всех.

В этот миг какая-то пародийная символика выпала из его судьбы и воплотилась в весьма бойкую пирожницу, с благоухающим именем Розы. Особа понеслась по рядам писателей с лотком, как она уверяла, «былой роскоши» — то-есть, ужасным эрзацем пирожных.

Но не успела Роза протолкнуться до конца рядов, как он вышел кончать. Тут пирожница незабвенно присела с недопроданным лотком и сказала с досадой:

— Ах, и что он так мало наплакал. Я не поспела расторговаться.

Невинная пирожница вспоминается.

Труден путь служенья человечеству. И думается, в то время как общественный деятель должен из себя вырасти, художнику надлежит себя перерасти.

А. Иванову надо было в Италии пережить Risorgimento, чтобы через лицезрение освобожденных итальянцев понять, уже как мыслителю, смысл и ценность революции. Художнику надо очень много *увидеть,* чтобы иметь суждение. Общественному деятелю, чтобы из *себя* вырасти, нужны ясность мышления, культура, многолетнее оседание, отцеживание мыслей. И велика разница — созревать ли в судорожном спехе истории, ускоренной как у нас, или на западе, где всё еще известен каждому его завтрашний день, где какой-нибудь историк всю долгую жизнь живет в том же предместье, где родился, женился, похоронил мать, получил академика. Та самая квартира, окнами в

густой сад, те же дубы и чудесная заросль японского шиповника, посаженного когда-то вместе с отцом. И товарищи игр его все вокруг, вместе и состарились. И те же молочницы, те же пожарные...

Да, с товарищами связь в быту не порывалась. У одного всю жизнь брал помесячно зелень, у другого сливки и сыр, третий сам осенью приносит фрукты из своего сада и, выкурив предложенную ученым сигару, вдруг хлопнет на прощанье заскорузлой в садовой работе ладонью по белой изнеженной ладони кабинетного друга и скажет:

— Стареем, кум, понемногу. Погляди-ка ты завтра в полдень в окошко, оторвись от своих толстых томов, — ведь завтра праздник роз у нас в Фонтене, и господин мэр поведет под руку самую красивую девушку — королеву роз. А самая красивая девушка кто? Хе-хе, вообрази, моя внучка.

На утро, заслышав под окнами муниципальные трубы, которые сам же прозвал трубами второго пришествия, способными мертвых поднять, ученый оторвется от изысканий в эпохе Карла Лысого и, высунув под солнце лысину собственную, долго будет махать белым платком самой красивой девочке в венке из роз, идущей в важной процессии под руку с толстеньким мэром. А девочка, боясь стряхнуть с головы лепесток, ему окунется в ответ в плавном реверансе.

За королевою роз все пойдут в старый парк архиепископства, где в многоглазом от окошек здании стиля Луи XIV свое начальное образование получило всё маленькое Фонтене. Ну, что же с того, что один сейчас профессор в Сорбонне, другой занялся своим огородом...

Эта прикрепленность к месту при наименьшей затрате нервно-физических сил, без боли отрыва от семейного очага, это гнездовое тепло, доброжелательность улыбок всего

населения, со справками о здоровье, успехах, дочерях, сыновьях, наконец, внуках, создают ту защитную атмосферу, которая, как солнце из растения, выгоняет из человека предел его силы и цвета.

Но страна в начальной стадии культуры может беречь только то, что выдвигается в каждый данный момент, как ей насущно полезное.

Это целесообразно, и тут возражения нет. Но вот почему у нас, едва обнаружишь и талант, и охоту стране послужить тем, *чем можешь,* — как страна загнет тебе счет уж на всю полную меру? Коли ты на дуде игрец, то уж будь нам и жнец, и швец! И, смотри, на все «сто процентов», а не то мы тебя...

В противовес гиперболизму государственному умилительное зрелище справедливой оценки блага малого, но полезного представил нам некий парикмахер, возродившийся после многолетья окопов и походов, снова в салоне с вежеталем и прочими артиклями своего парикмахерского культа.

Перед высоченным зеркалом он, помнится, стриг подтанцовывая. То-и-дело метался от клиентов к восковому дамскому бюсту в окне. По случаю он приобрел «манекен с улыбкой», и вот беспокоился — то закрывал его белой кисеей от мух, то, спохватившись, что кисея может ослабить силу притяжения дамы, опять ее снимал. Наконец, приседал на корточки для проверки падения солнечных лучей и, вскочив, продвигал манекен в глубину.

— Что это вы так перед дамой танцуете?

— Дамский манекен — это вещь, — сказал парикмахер, — о нем можно беспокоиться. Чтоб она сохранилась, большой нужен уход. На солнце нос у нее тает, в тени

моль кушает волоса. А между прочим, и спокойный манекен дорог, а «с улыбкой», как мой, и того дороже.

С тех пор, всякий раз как подымается скопом гик и зык, если какой-нибудь «на дуде игрец» не потрафит на всю полную меру, вспоминается нам оберегающий парикмахерский афоризм: «дамский манекен — это вещь».

Однако, голодать перестали. Почти все могли теперь отъедаться на передних ногах дореволюционных коров, на пшене, на селедках из Дома Ученых. Понемногу стал писатель возвращаться от вынужденного цинцинатства на картофельных огородах к своему прямому профессиональному делу. Писатель стал получать гонораришки.

Заморив червяка, отдались сентиментальности. Жизнь чувств была поневоле в забросе последние годы. Сейчас же сердцá, еще размягченные пережитыми лишениями, неестественно подобрели.

Поклонники большого русского художника, узнав, что этот, вегетарианствующий принципиально старец сидит на одной финляндской моркови и брюкве, расчувствовались и послали ему в складчину, из добытых трудами грошей, роскошную корзину свежих фруктов. Как отцы, разрешение дали власти на иноземный провоз. И некий писатель, он же добрый знакомый художника, переехал с корзиной границу.

Посол, прежде чем предстать пред художником с фруктами, послал ему записку с почтением и разъяснением цели приезда. Но записка, увы, написана была по новой шахматовской орфографии, которую старый мастер, упрямо считал «большевизмом», губящим страну. Он принял писателя еле-еле, а фрукты и прочее отправил, ничтоже сумняся, в крупный город Финляндии для исследования на предмет нахождения в них яда.

И резолюция финляндских аптекарей:

...Ядов, известных доселе в медицине, анализом не обнаружено, что, впрочем, не исключает предположения, что в стране советов может быть открыт какой-нибудь новый яд, еще никому неизвестный».

Да, обминался новый быт. Кондукторша по утрам, уже с кокетливой поджимкой, кричала висевшим, как осиное гнездо, на рабочем трамвае:

— Ну, влезай, што ль, внутрь, хозяевá страны — сплошные министры!

На что министры отвечали весело и нецензурно.

Банщики какой-то Теткинской волости, отбыв наказание за уголовщину, уже превратились в могильщиков и попали в союз. Правда, почти тотчас появилась в газете графа — «Еще одно рвачество», где сообщалось, что именно этих Теткинской волости могильщиков, вычистили из союза коммунальщиков за *разложение кладбища!*

Сохатый, как собиратель быта и сказа, заинтересовался, как возможно разложить то, что по самой природе своей, казалось бы, уже есть предел разложения, и спросил в очередную стрижку о том у вышеупомянутого, склонного к обобщениям парикмахера.

Парикмахер, не ценитель юмора, ответил по существу:

— Вычистили могильщиков за семейственность.

— Но разве могильщики обязаны быть холостыми?

— Семейственный разве значит женатый? Семейственный — который тянет за собой своего человечка. Рвач за могилу! А вот знакомого моего, товарища Соплина из Пищевкуса за что?

— Из союза Пищевкус исключен товарищ Соплин помоему тоже правильно, — сказал Сохатый. — Пусть меняет или фамилию или союз.

Так веселились в невинности, отъедаясь. Но мерзнуть продолжали по-прежнему, потому что нагрянули удивительные морозы, пред которыми топка благодетельных буржуек пасовала.

Старик Немирович-Данченко, чтобы как-нибудь отогреться, сел писать про Африку. И вдруг, как нарочно, дразня содержанием, появились вот эти плакаты:

КАЖДЫЙ ГРАЖДАНИН ИМЕЕТ ПРАВО БЫТЬ СОЖЖЕННЫМ

Так объявлялось об открытии крематория.

Для постройки крематория извлекли из отдела уголовных тройного одного убийцу, но в то же время и строителя, имевшего, кроме преступности, опыт архитектурный, как раз пригодный к данному случаю.

Молодой заведующий крематорием в увлечении этим зданием то и дело возил туда для осмотра на машине гостей и, как летом хороший хозяин, бывало, радушно настаивал на выборе гостем самолично из садка карася пожирней, представлял списочек кандидатов обоего пола, подлежащих огню. Потом новенький свод оглашал зычный крик, знаменующий выбор:

— Ста-руш-ку номер пять!

Печь, по неопытности, разжигали всякий раз наново. Изумление контроля на великую трату дров в таком гиблом деле, как сожжение никому не нужных останков людей, при наличности замерзания живых, было велико.

Так вспомнилось нам, потрясен был во время оно некий командир батальона, когда отцы-монахи Выдубицкого монастыря ему представили счет за нижнего чина, направ-

ленного к ним на церковное покаяние за насилие над девицей.

— Сдается мне, что прокормление негодяя субалтерна должно стоить много ниже прокормления господ обер-офицеров, — сказал гневно настоятелю командир, пробегая глазами представленный из монастыря счет за насильника. — Что же это у вас, осетринка, вино?

— Таковó трапезуем, — смиренно ответил отец-эконом.

Чудесные березовые дрова, которые шли на трупы, вполне живым гражданам снились только во сне. И потому плакат — «Каждый гражданин имеет право быть сожженным» — таил в себе, кроме остроумия стилистического, и вполне конкретную притягательную силу. В доставке дров населению случился прорыв, и самый порядочный гражданин опять неудержимо повлекся к заборам. Обстукивал и раскачивал тот ли зуб, или иной, спешно прикидывая, сподручно ли ему будет унести облюбованный предмет к себе домой в сумерки.

Помнится, в ту же приблизительно зиму особую заботу и толчки вызвал быт упраздненных революцией проституток. Объединенные в большую, уже полноправную семью, они перевезены были в великолепное здание за город. Однако, дальше не знали, что с ними предпринять, — быть, как с институтками, или как с арестантками? Выбрали равнодействующую. Дали им наряд лекторов на предмет всяческого просвещения и политграмоты, но держали взаперти, и профессиональную практику запретили строжайше.

Стосковавшись по городу, женщины изобрели некий стандарт для свободы передвижения, а именно— «бутылку молока для моей бедной мамы, экстренно заболевшей».

Бутылка передавалась из рук в руки, как, бывало, постом в институте передавалась бумажка с грехами, полученная на приеме из кадетского корпуса. Иметь много грехов считалось «шикарным», и девочка гордилась, если бывала отдельно задержана батюшкой и выходила от него из-за ширмы с наложенной эпитимьей. Словом, с «грехами» дело шло гладко, пока кадеты из озорства не понаписали таких специально мужских грехов, что исповедник, всплеснув восковыми ладонями, возопил.

— Нет, уж подобное для вашего пола даже и не выполнимо!

С бутылкой «для больной бедной мамы» получилось аналогичное. Однажды девицы развели в молоко такую гущину извести, что дежурный полюбопытствовал исследовать качество, и тут же разнюхал, что в бутылке грубейший псевдоним. Пускать девиц к больным матерям перестали. Девицы же устроили бунт. При проезде мимо их заведения поезда с контролем они по команде, все как одна, выбили в окнах стекла.

Как мера воздействия, немедленно свершен был переброс девиц на Смоленское кладбище. Им изобрели там неслыханное упражнение — зубилом и долотом стирать имена и титулы с надгробных мраморов генерал-лейтенантов, дабы не оскорбить их символическим присутствием трупы пролетарские, для которых эти надгробия, по мере надобности, отходили.

Теперь уж не только объективно, субъективно ощущалась всеми необходимость перехода на новое сознание. Как только что пересаженное, привядшее растение, поначалу задумавшись: блекнуть ему или расти, вдруг спохватится и пойдет тянуть влагу из чуждой корням его, но свежей земли, и, гляди зацветет новый цвет — так отдельные кружки и люди, еще болезненно расправляясь, уже твердо

искали, каким путем могли бы они, сохранив свою личность, существовать в новой действительности.

Только корабельцам всё еще была нова и тяжко переносима мысль, что поэзия не осязается сейчас, как самодовлеющая, целеустремленная сила, и что, если поэт окажется плохим политиком, как некогда Андрэ Шенье, поэта не спасут никакие прекрасные книги стихов.

Твердили окаменело, с непроходящей болью, вспомнив вдруг об ушедшем, почему-то не из последнего его «огненного тома», где столько, подобно Лермонтову, есть предчувствий собственной гибели, а из его цикла шуточной мелочи.

Написался им как-то экспромт по одному смешному, прямо сказать — «личному случаю».

Из глухой, но еще сытой провинции неизвестный поклонник русской литературы прислал как-то в Сумасшедший Корабль целый ящик яиц. По распределении пришлось по одной штуке на брата-писателя. Некий предприимчивый полковник Мелавенец, не разделяя с Оскар Уайльдом отвращения к пословицам, как к пище, пережеванной чужими зубами, вспомнил кстати, что «с миру по нитке — голому рубашка». Справедливо доказуя писателям, что десять яиц — это чудесная яичница, а одно яйцо — пачкотня, он им предложил каждому уступить ему свое скудное яичное право. Заполучив сотню яиц, предприимчивый полковник как в воду канул. Событие было запечатлено вышеупомянутым автором так:

Полковнику Мелавенцу
Каждый дал по яйцу.
Полковник Мелавенец
Съел много яец.
Пожалейте Мелавенца,
Умеревшего от яйца.

Замечательное определение последней строки было взято из одной поэмы ныне эмигрантского поэта, воспевшего некоего «*умеревшего*» офицера.

Сохатый ходил в один из клубов Ленина читать русскую литературу. Условия были — за двухчасовую лекцию полфунта хлеба и конфету — условия, по тогдашнему времени, редкие. По союзу Земли и Леса, например, за целый день копанья огородов давали три четверти хлеба без всякой конфеты.

Сохатый, по началу, был в клубе растерян, не зная, что делать, с какого конца начинать. Рабочие доброжелательно подсказали сами:

—Вы, товарищ, не бойтесь, говорите про то, что именно вам известно, — политграмотны мы и без вас.

Тогда Сохатый воспользовался тем, что в театре шел Шиллер, и предложил вслух читать и разбирать Дон-Карлоса.

Изумительно слушали, ходили смотреть по нескольку раз, с одобрением говорили:

— Ну, теперь много доходчивей стало. А то, не понять, что к чему, и даже будто совсем скучновато. Иностранщина вполне прошлых веков. А сейчас, ну, вот точка в точку, все наши советские дела!

Сохатый удивился оценке и предложил рабочим изложить свое мнение письменно. Написали почти все в одном роде.

«. . .а дела те испанские провалились собственно из-за Карлуса, как был он соглашателем, а маркиз Позе, как один в поле не воин, на рабоче-крестьянской платформе, стоял твердо. И вот предложение — конечно, за идеологию выправить Позе классовую линию. Как товарищ Керженцев одобряет за пьесу «Зори», переделку можно одобрить

вполне, и за Позе, как он один в поле не воин, переписать ему требуется анкету с дворянской на рабоче-крестьянскую».

Сохатый и Жуканец сближались всё более. Молодому был старый, что трамплин для прыжка. А Сохатый хотел, как много думавший человек, найти, упражняясь с Жуканцем, язык и форму для передачи молодым своего опыта жизни. Всякий, имеющий груз за плечами, его хочет скинуть. И даже, как известно, Сократ, разболтавшись, медлил выпить цикуту. К тому же оба, Сохатый и Жуканец, с одинаковой силой, хотя каждый по-своему, увлечены были лепкой *«нового человека»*.

То, что говорил Жуканец о непременной перестройке всего внутреннего, как естественном следствии упорядочения быта внешнего, было, конечно, убедительно, но отодвигалось на далекие времена. То же, что надумано было Сохатым, казалось ему, могло перестраивать человека *немедленно,* пока он еще не имел ни достаточной жилплощади, ни мануфактуры, ни той пресловутой «курицы», которая, при социализме воплотившемся, даст чудесный навар супу каждого гражданина.

Беседы шли в комнате у Сохатого. Жуканец, как водилось, сидя с ногами на окне, милостиво слушал, дымил махрой и напоминал от времени до времени уговор — говорить на конкретном материале.

Сохатый старался.

— Вообрази, — сказал он, — я когда-то видал человека, загипнотизированного, из которого гипнотизер вывел публично чувствительность — ни больше ни меньше, как в скатерть, покрывавшую стол. Когда он колол эту скатерть иглой, человек корчился от боли, когда же он колол самого человека, то скатерть, хотя не морщилась и

молчала, но нимало не страдал и человек. Значит, способность к экстериоризированию, как потенция, есть у всякого. В организациях же творческих она в избытке. Иллюстрациями сверхличных увлечений разнообразных творцов кишит история всех времен и народов, начиная с пресловутой «эврики» Архимеда, когда окончательно оформившийся в его мысли закон об удельном весе заставил его выпрыгнуть вон из ванны и, как мать родила, пронестись по Афинам.

— К чему ты такую Одиссею развел? Подытоживай!

— Одиссея для того, чтобы убедительней вышла мораль. Оглянись кругом на людей. Все, кому в прошедшие годы пришлось густо хватить революции, — либо пан, либо пропал. А вынести, и даже умножить творческие силы удалось только тем, кто во время хватился обзавестись здоровой волевой культурой. Главней же всего в этом деле дисциплина воображения, произвольная экстериоризация сознания, о которой твержу я тебе давно. Уменье *по своей воле* опускать завесу на чувства и впечатления, — ведь это, как в сказках — прикованный цепью колдун летает соколом в облаках. Половина бед человека и его непродуктивности от того, что он слишком часто не умеет переключаться *вне* себя. Пристукнет иная минута, нервы не выдержат, и творческие силы распадутся.

— Пересмотрим в воображении быт хоть одного дня тех густых лет, когда на фронте, по мнению многих, было легче, чем в тылу. Я жил на юге. Ну, так вот, не угодно ли — с четырех утра за пять верст на поденщину; после рабочего дня, ввечеру, вместо отдыха, бежишь на базар выменять барахлишко на молоко, — и в барак к сыпнотифозным. Кто-нибудь из знакомых непременно лежит. И, если не помер, голодает похуже нас, ходивших к дядька́м

на работу. А ночи без сна. То бандиты ввалятся, то смена правительства. Один раз вышло так — бежать уже поздно, рядом с домом ложатся снаряды. Я в школе задержался, рабочие привели мне ребят и кинулись на соседний завод, а нас укрыли в какую-то вроде цистерну для вулканизации кабеля. Крышку задвинули и смылись кто куда. Входили в город поляки. . . — Вот, брат, тут эта самая дисциплина и спасла. Как пошел я ребятам про лису, про кота в сапогах, они и страха набраться не поспели. Между тем, опасность задохнуться была велика. Ребята в увлечении не заметили, как один за другим обомлели, а я уж за всеми. Однако, нас во время откупорили, мы на воздухе отошли. Но тех, предпоследних, дьявольских вещей, какие, по положению, нам бы испытать полагалось, ни ребята, в своем увлечении, ни я не испытали вовсе.

— В огороде бузына, у Кыеви дядько, — сказал Жуканец. — К чему, спрашивается, нагородил?

— А к тому, что надо спохватиться *немедленно,* чтобы копить побеждающие действительность силы ради нее же самой. Надо именно *сию минуту* вводить в фундамент строящегося нового человека особые волевые дисциплины. Это, брат, не журавль в небе, а как раз синица сегодняшнего дня.

— Чорт возьми, уж не меняемся ли мы ролями? Распропагандировал я тебя на свою голову, — засмеялся Жуканец. — Ну, валяй, что у тебя про сегодня?

— Да хоть бы то, что мы не умеем формулировать. Просиживаем зря бесконечное количество драгоценного времени от распущенности воли, от выхолощенности мышления. А взять наши эмоции — сплошная стихия... Мы не свободны от самих себя, не созданы внутренно. Не только не состоим, по выражению Спинозы, из одной *необходимости* собственной творческой природы, а, просто, нас по-

настоящему еще нету вовсе... Между тем отсрочки уже нет. Надо строить новую жизнь, надо стать человеку *художником*.

— Подходящий титул для сегодняшнего дня! Ну, чудак. А я было поверил, что скажешь дельно. Ты мне на сегодня зубы давай поострее, да кулаки покрепче. Сегодня и в трамвай не попасть, не лягнувшись.

— Заткнись на минуту. Как раз к твоему случаю самый последний конкретный пример:

Вчера стояли в хвосте час, стояли два, ну и ругались... Уйти невозможно, — стоят в порядке живой очереди. Это, конечно, не слишком приятное бытовое явление, но даже оно, при мудром использовании может оказаться воспитательным средством для вышеупомянутой экстериоризации. Я, например, под ругань соседей, вообразил себе мой любимый Париж. На параходишко сел и поехал в Севр. И вот уж не слышу ругани. Предо мной одни чудесные уходящие вдаль берега, матовые дали. И такая легкость воздуха, что хитрое кружево башни Эйфеля мне показалось не железным, а плетеньем из волос, как хитрые прабабкины сувениры. Белизна песка, зелень реки, каштаны в цвету, как в белорозовых свечках. А мосты... если б ты знал, до чего волнуют эти парижские мосты.

Оттого ли, что статуи сидят ниже, чем нашему глазу привычно, — весной солдата с ружьем на мосту Сольферино заливает вода... А окна парижских домов при закате? Оранжевые жалюзи горят, как куски солнца, развешанные для просушки. Пон Мирабо с аркадами, с вензелем Французской республики...

Я в Севре сошел, сел в бистро у самого берега, против холмистого парка. Старый знакомый хозяин дал мне кусок деревенского копченого сала и домашнего легкого пива...

— Допустим, что ты, действительно, себе сумеешь наврать, настоявшись в хвосте, — оборвал Жуканец. — И то, прибавь, если не моросит сверху дождь, и ты при галошах. Ну, а мне от твоего Севра какая корысть? Нет, браток, если научился выбрыкивать из самого себя, так валяй из хвоста не в Севр, а в кооперативное товарищество. Да раскинь там мозгами, как бы поскорее хвосты вовсе изжить! А в Севр, я предпочитаю, товарищ, съездить взаправду по билету Дерутры.

ВОЛНА ВОСЬМАЯ

В отличном здании у Исаакия собирались в час вечерний литераторы и критики со всего города — и, сколь ни поминали Европу, собирались с опозданием. Продвигались в темноте по ходам-переходам; добравшись до комнаты в мягких диванах, уплотнялись до предела. Угревшись под чтение то ли стихов, то ли прозы, поочередно поругивали авторов: начинали доценты и юные профы, подхватывал метод формальный, угробливал окончательно кто-нибудь из ближайших друзей, заступаясь за автора или поясняя его.

Автор же хорохорился и глотал жидкий чай. Критики, разрядив свой беспламенный жар, как давно застреноженные, легко утомимые кони, с видимой радостью переходили в любимое стойло — отдел второй вечера: определение форм русской прозы на завтрашний день — быть ли русской прозе романом, быть ли ей новеллой.

Но, как в бешеной скачке не замечаем мы своих спутников, так в фантастической той современности не замечали ни наши критики, ни мы сами, что все люди подряд ста-

ли авторы, что временно самой жизнью из рук профессионала писателя вырвано преимущество печатного слова — подведение итогов.

Да и что подводить можно было в той суматохе? Какую выдумать фабулу, роман и новеллу ,когда в Бельском уезде заурядные леноватые мужики подвизались в лесах, как Дубровский у Пушкина, — они, поймав своего бывшего барина, проезжавшего через лес, одарили дарами (в свое время им были довольны) и наставили:

— А сейчас катись от нас легче пуха, потому, как бывшего помещика, нам тебя, Иван Семенович, требуется вздернуть.

Или в Киевской губернии бывшая институтка, став атаманшей из офицерши, водила полки. Учителя гимназии работали на поденщине у хуторян и, хлебая в час отдыха пшенку из общего котла, слушали лекцию по астрономии у профессора с именем, промышлявшего тем, что он на кладбище по утрам зарывал сыпняков. И — не угодно ли ?— вчерашняя крымская гроза — генерал Слащев — вдруг печатал сегодня в советской газете свое обращение к остаткам белых армий, удерживая в своей речи весь стиль прежнего вкуса к былой государственной реторике:

Я, Слащев Крымский, зову вас, офицеры и солдаты, подчиниться советской власти и вернуться на Родину. В противном случае, вы являетесь наемниками иностранного капитала и, что еще хуже, изменниками против своей Родины и против родного народа.

И подписались единомышленники офицеры, воспитанные на славянизмах манифестов:

Мысля едино со Слащевым...

Сохатый опять не мог работать на свою спокойную тему — закрепление быта и сказа, — он досматривал гибель русского интеллигента. Сохатый новый быт принял без саботажа, дружа с Жуканцем, на нем учился, как доступней передать новой жизни свою культуру, но, вместе с тем, оттого, что знал: — Гаэтан, Еруслан, Микула, Инопланетный Гастролер — собирательные исторические фигуры, опустили в землю старую мать — Русь мужицкую, Русь интеллигентски-рабочую, — было пусто, как сироте.

Гибель интеллигента для наглядности строилась Сохатым на материале литературном, главным образом на особом мастерстве Инопланетного Гастролера. «Роман итогов» — так для себя окрестил Сохатый его замечательный, совсем иначе озаглавленный роман, который дозволял досмотреть и проанализировать перед сдачей в архив истории то, что зовется *русский интеллигент,* и понять, может ли он еще возродиться в прежнем виде, или ему, как Перу Гюнту, надлежит целиком пойти в переплав.

Гибель интеллигента началась вследствие его вырождения и окончилась в наши дни, когда свершен был самой историей перенос силы и воли Петровой с личности на коллектив...

Так читал вслух Жуканец из записной книжки Сохатого, сидя у него на окне.

Проследим родословное интеллигентское дерево. В сущности, в «Пиковой Даме» и в «Медном Всаднике» даны Пушкиным зачатки всех психологий, которые могли возникнуть и развернуться пышным цветом в самом умышленном и фантастическом городе, выражающем, как Париж Францию, всю культуру нашей страны....

— Чей петербургский период закончился Октябрем, — вставил в скобках Жуканец.

У Пушкина существо, вещь, действие — взяты в таком совершенстве, что чуть ли не каждое предложение таит в себе возможность развития в целостный организм. Намеки Пушкина прорастают в пышный цвет у Достоевского и Гоголя. Последний урожай собран А. Белым. Все психологии, зачатые Пушкиным, А. Белым завершены до истощения питавшего их мыслеобраза и сгербаризованы в «Романе итогов»...

— Однако, — сказал Жуканец, — у тебя это, брат, целая лекция по русской литературе. Не скучно ли будет?

— Проскучаешь несколько страниц, а, возможно, чему-нибудь и научишься. У тебя литературный зуд уже велик, а писать, извини, не умеешь. Вот умести-ка в столько страничек, как уместил я, критику целой книги и кучу попутно возникающих мыслей, намеков и выводов. Небось, стопу бумаги изведешь. Обмен — так обмен: ты меня политграмоте, а я тебя литературе.

— Задаешься?

— Напротив того, уважаю. Желаю, чтоб ты знал все то, что знаю я. Ты намедни вывел из того, что попутчики не устраивают дискуссий, будто они что-то знают, да хотят утаить из профессиональной ревности. Но зачем мне непременно болтать, если я могу сделать именно письменно, лучше чем устно, свой вклад в общий пай. Нужно ли тебе «назад к классикам» или нет, я тоже не могу ответить. Для **меня,** символизм давно взял классиков в мясорубку и провертел их, сделав многообразное преломление идей, языка, сюжета. Но, по молодости, ты этого не пережил и подобного преломленного языка не разумеешь. Что же мне, опять с тобой вместе назад?

— Да, уж лучше назад, чем в такой «вперед», как возвеличенный тобой Инопланетный Гастролер. В его инопланетности сам чорт ногу сломит. Наборщикам, го-

ворят, буквы л при наборе не хватило. С луны, что ли, он свалился?

— А ты бы все-таки поскромней. Когда чего не понимаешь, припоминай небезызвестное изречение — «не всегда книга виновата, если читающий ее не понимает». Ну, трудись...

Генетическая связь этого романа с Пушкиным несомненна. Любопытно проследить родство персонажей.

Герман — зародыш интеллигента и разночинца по признакам: не родовит, беден, самолюбив. Едва вместо службы военной окажется штатская, выростет тот первый «обиженный чиновник», который в русской литературе даст такие богатые разновидности — у Лермонтова, у Гоголя, вместе с фабулой, *до странности совпадающей*.

В самом деле, первый обиженный русский чиновник у Лермонтова в «Княгине Лиговской» сбивается с ног незнакомым офицером Печориным. Гоголь тщетно пытается чиновника этого придушить в многообразных канцеляриях, — с распалившимся самолюбием и поумневший, он опять пойдет гулять по проспекту, пока новый, опять незнакомый, офицер не столкнет его с Невского в «подполье».

В долгом злом одиночестве чиновник еще умней, но в такой же мере и злей. Обиду свою он выращивает до фантастической сгущенной силы, до чудовища, которое, овладев им, его вытолкнет, в свою очередь, уже из подполья для действия *во что бы то ни стало*.

Но какое же действие во власти бестворческого самолюбия, иссосавшего организм, устремленного во вне? Нетворческая сила предпримет и действие не творческое, а, напротив того, разлагающее ткань жизни. Нечто вроде действий Липпанченки. Итак, особая примета Германа, как Гоголевский «нос», отделившись от владельца, обрастает собственной биографией, чтобы в последнем итоге существования дать — *провокатора*.

Признаки интеллигента: мысль без объекта, воля к совершению без «во-имя». Родоначальник революционного бытия, сгербаризованный в «Романе итогов» как чистая воля — есть Петр.

Но кто же он? Великан по волевому размаху и физически трех аршин росту (сворачивал в трубку оловяную тарелку и резал кусок сукна налету); маленькие, точно наклеенные усы на лице, круглом, ярком, как солнце, или гневном, как «Божья гроза» — лице гения. И пресловутый формуляр — «то академик, то герой»... Это на троне. А дома, в виде отдыха, знание четырнадцати ремесел в совершенстве, почему бывал на фабриках, как у себя. И все это мимоходом, безотчетным порывом. Труд — как дыхание, как органическая потребность.

История обличает, что Петр-человек то и другое преступил, не дрогнул перед убийством родного сына. Но в той же истории, где сосчитаны грехи человека, бессчетны труды и дела Петра-сверхчеловека. И вот — убивая, он не убийца. «Дело Петрово» как бы окрылило Петра. Он всегда на коне. Полет вихрем — туман разбивает. В тумане оседает и гибнет только бескрылость, ненайденность форм и движения, и обманывает тех, кто ищет и хочет обмана.

Мыслеобраз Петра — это крепкие дрожжи, это зов от человека к сверхчеловеку. Путь его бесстрашный и опытный, путь свершений. Но *удачен* этот путь при условии, которое так блестяще он выполнил сам — не *во имя свое*. У Петра было имя — Россия...

Жуканец перестал читать вслух записную книжку Сохатого и сказал:

— У Октября тоже есть имя — социализм. Все, что между, туман. Ну, что же, это мысль. Читай дальше сам.

...Два гения у колыбели исторического существа, которое звалось еще недавно Россия: Петр — родитель, Пушкин — духовный восприемник.

Петрово творенье стоит. Найденной формой туман побеждается.

Стоит и вознесенный конем всадник, чей мыслеобраз — психический центр влияний на целых два века. Два века он — волевой магнит, к которому влекутся все психологии, отмеченные соблазном выхождения «за черту и меру». Но влекутся они *без его предпосылок,* на гибель.

Герман, Раскольников, Аблеухов — в известном смысле апологеты Петра, их неправота оттеняет его право. Соблазненные далями, куда манит его властно простертая рука, ринулись они без оглядки, не имея за душой никакого твердого «во имя», и попали... в мираж.

Обманут графинею Герман: — не туз — дама бита! Сильная воля, брошенная перед собой в пустоту, вернулась обратно, несытая, и сглодала виновного — человека свела к маньяку. Так, неудачно владея пращей, случается, попадешь камнем в стену, и камень, отпрыгнув, пробьет твой же лоб.

«Тройка, семерка и туз» — шутовской пасквиль на высшую тройцу разума, воли и чувства.

Герман — ближайший к «Медному Всаднику». Он отмечен первым, кто пожелал стать хозяином жизни. Герман еще из того же металла — чугунный и точный. И не потому ли в этом рассказе Пушкина наш город взят еще без тумана? Хотя, конечно, он уже найден в слове и дан, по скупому рецепту Флобера, в своих двух важнейших, отжатых от подробностей, признаках: *дождь и карета.*

На долю А. Белого — наш город закончить. В своем «Романе итогов» он прибавит *линию и туман.* И четырьмя этими существительными лицо города будет закончено и готово для сдачи.

Герман — чугунный, хорошо слажен, но у него профиль Наполеона — не *свой.* С ним проклятье чужой, другим оправданной формы. Но весь он сам. «У него профиль Наполеона и душа Мефистофеля», говорит о нем Томский. И дальше, когда Лиза, после убийства графини, подымает заплаканные глаза на Германа, который, сложа руки, гордо глядит, она поражается удивительным сходством его с портретом Наполеона.

Странное опять совпадение: у Раскольникова — этого же Германа, из казармы попавшего в университет и, вместо наук инженерных, познавшего разновидности философии, тот же штамп Наполеона, но уже не на теле, а в душе. Никто, как Наполеон, зарождает в нем преступника. Раскольников — жертва его.

Чем дальше, тем сильней преемственные носители преступления Германа карикатурят вдохновительный образ дерзания Петрова, несмотря на их будто бы возрастающую сложность и глубину.

Раскольников обманут, как Герман графиней, другой старухой, — еще живой, убивая мертвую, он убил себя сам. И вот уже нет Раскольникова. Он превращен в опытное поле добродетелей Сони. Он капитулировал, но не возродился. Человек корыстен, и для прочности внутреннего роста это хорошо. Дешево уступать свой внутренний мир может только тот, кому он дешево обошелся. Раскольников за свой опыт дал высшую ставку — *всю* радость, *весь* покой своей жизни. И, чтобы поверить в его перерождение, возвещенное в эпилоге, нужен человеческий документ такой же подлинности новой жизни, как «Фиоретти» былого гуляки, сына Петра Бернардоне.

Если Герман — зародыш интеллигента — еще только начинает думать и, когда другие играют в карты, стоит часами безмолвно, то преемственный ему Раскольников, забившись на своем чердаке от всего мира, подлинно — «знает одной лишь думы власть».

— Понимаешь, Жуканец, у мысли, взятой, как *содержание жизни,* два главных пути — на одном вехи расставлены на все времена рукой Гете в назидательной судьбе Фауста, через *мысль к свершению* (если не читал, прочти), от совершения к *служению.* Другой путь мысли, *ничего* не рождающей, слишком часто был путь нашей интеллигенции.

— То-то и поплатились, — ввернул Жуканец. — Ну, кончай, кто в ком завелся....

— Итак...

В Германе завелся Раскольников, в Раскольникове зачат бестрепетно Николай Аблеухов. Для окончательной генеалогии можно установить так: Иван Карамазов, приняв в себя опыт Раскольникова, отработал его уже в более тонкий к свершениям бескровным, с умытием рук. Далее, в белых ночах фантастического города, к здоровому, злодейскому мыслеобразу Германа, в час очередного космического зачатия, под знаком всеобщей эволюции, совершилась прививка метафизической похоти Ивана Карамазова и возник Николай Аблеухов, последний, синтезированный перед гибелью интеллигент.

Как и его предшественники по дерзанию перехода черты и меры, Аблеухов хозяином жизни не станет, из под знака судьбы не уйдет. Он обречен подчиняться символизму герба своего рода — рыцарю, прободенному единорогом.

Последний, синтезированный Андреем Белым перед гибелью, русский интеллигент — он в придачу же Евгений, сраженный рукой Медного Всадника.

Изумительно, как у нас все исходит от Пушкина и все возвращается к Пушкину.

— Ну, это я понимаю, — сказал Жуканец, — ловкий получился конспект. Однако, не читай больше. Подводи лучше словесно. Здесь уж так накручено, что окончательно не понять.

«Для того, чтобы тебе ясней была моя мысль, — сказал Сохатый, — припомни опять: У Германа не совсем, но лицо *свое* еще есть, у Раскольникова лица уже невозможно запомнить, — хотя в какой-то главе дано описание, но никто его не помнит — до такой степени он уже не лицо, а психология.

Николай Аблеухов, с его шапкой слишком белых волос, преследующих читателя с назойливостью парика, гримируется автором то в ставрогинскую маску красавца, то в маску урода с лягушечьм ртом. И все-таки, ни в том, ни в другом случае он не обнаруживает ни черточки лица человека. И как же обнаружить ему принадлежность к тому, чего уже в нем и помину нет?

Спасаясь от внутреннего разорения, вымирающий интеллигент укрывается в честную Кантову крепость, плющем обвивается вокруг Канта, паразитирует на Канте. Он отдыхает на нем, как утопающий пловец на утесе, от безумных круговращений своей несобранной широты. Но пловец слишком изнемог и с утеса сорвется...

Бацилла метафизической похоти Ивана Карамазова выгонит его вон из последней твердыни и при помощи мудрейших упражнений на окончательную «остуду сердца» научит какому-то беспардонному «пролитию во вселенную».

Путь подлинной эволюции человека — расширить свой домашний, незатейливый ритм до ритма вселенского, но не иначе, как храня кровную любовную связь с миром и всей стенающей тварью. По мере своей широты, ум умножает свою ответственность, свою круговую поруку.

Но последний подытоженный интеллигент благополучно погибает, ибо чувство связи с чем бы то ни было давно из себя вытравил, а сознание научился выщелкивать из себя, куда угодно, просто-напросто вон, хоть в лампу. Свидетель автор: «сознание Николая Аполлоновича, отделяясь от его тела непосредственно и соединяясь с электрической лампочкой письменного стола.. а тело свое он чувствовал пролитым во вселенную, то-есть в комнату. Голова же этого тела смелась в голову пузатенького стекла электрической лампы. Но несмотря на эту умудренность и способность вращаться в атмосферах тончайших, у него общая участь с мышонком, защелкнутым в мышеловку, в ту минуту, когда революционер Дудкин передает ему некий узелочек.

Короче говоря, как Герман и Раскольников, обманут судьбой и последний интеллигент Аблеухов. Его беспочвенный выход «за черту и меру» не сделал его обладателем ***никакой новой действительности,*** а всего лишь «сардинницы ужасного содержания».

И пусть, по эпилогу, он приведен автором в Назарет, символ возрождения, — как нам не верится в сибирский рай Раскольникова, так же не верится в возрождение Абле-

ухова. После столь прочной «остуды сердца» мало отростить золотую бородку и взять в руки томик Сковороды.

Словом, интеллигенту надо идти *в совершенный переплав.*

У нас плохо умеют читать, не то бы Аблеухов мог стать нарицательным именем, как Печорин, и микроб *аблеуховщины* дополнил бы собою семью, раньше открытых: достоевщины, чеховщины, которой приписан диагноз — пустынность. Но его можно оспаривать, — чеховцы не пустынны, они, напротив того, повышенно нежны сердцем, богаты чувством и живой мыслью, но все они словно жертвы той хитрой осы, которая умеючи разит жалом центр движения своей добычи. Чеховцы оцепенелые. От их неподвижности две нисходящие линии — в провинцию и в столицу. Обе уже с определенным трупным запахом. Разложение провинциальное выражено и закреплено в классическом мастерстве «Мелкого беса» и в символике живописи Евгения Замятина «Уездное».

Он же загнал «На кулички» последнего инфернального офицера, которого обрек на гибель уже без предпосылки Германа, по одним «домашним обстоятельствам».

— Нет, я больше вместить не могу, — сказал Жуканец, — давай заключение.

«Заключение вот: Белый гениально угадал момент для подведения итогов двухвековому историческому существу *Петербург* и синтетическому образу — *русский интеллигент* — перед возникновением, с именем Ленинград, новых центров влияния и новых людей. Отсюда, при подведении итогов, обоснованность реминисценций всех крупных творцов, пропущенных через последнее преломление и творческий опыт самого автора. Так нужно было для задания. А задание — сдача в летопись мира от-

жившего исторического существа Петербург и населявшего его интеллигента. Оба рождены Петром, осознаны Пушкиным, через Лермонтова, Гоголя, Достоевского вошли в зрелость.

Это историческое существо Белый похоронил по первому разряду в изумительных словосочетаниях и восьми главах. Если ты читал и зевал, то перечти еще раз. А теперь идем в кино».

Идти не пришлось, потому что приехал грузовик за книгами от союза пекарей. Сохатому, как помощнику библиотекаря, пришлось объяснять, что информация дана неверно, что надлежит обращаться за книгами не к писателям, а в Книжный фонд, куда свозятся конфискованные библиотеки.

В Книжном фонде девица с подвязанной щекой неохотно оторвалась от предварительного раскладывания книг по буквам.

Как аист, высоко поднимая ноги, прошагала она через неразложенные груды и приняла от грузовика ордер.

Прочла и, не утруждая свое мышление, кому-то начальственно крикнула в глубину:

— Выдайте пекарям всю букву Г!

И выдали пекарям в перемешку — Гёте, Гервинуса, глину, голубей и глисты.

Вечером Жуканец и Сохатый пошли смотреть к сестре Врубеля полотно над диваном.

Дорóгой Сохатый сказал:

— А «Роман итогов» ты, Жуканец, все-таки перечти. Человек должен бороться против готовых представлений, иначе потеряешь в жизни много и очень ценного. Непременно проверяй то, что тебе сразу покажется непрелож-

ным. У меня из-за подобного греха такое вышло с Врубелем, что на всю жизнь камнем легло.

— Ты знаком был с Врубелем? Расскажи.

— То-то что мог бы, да не был. Рисовал я на юге в одной школе. Директором отличный был старик. Как художник, он, правда, дал одни «Вербы при закате», но учеников искусством заразить умел. Врубеля понимал и ценил раньше всех, когда тот еще диким казался и на Нижегородской выставке отвергнуты были его полотна.

Но мы, им восхищенные ученики, бегали то на Куреневку, где в Кирилловской церкви часами простаивали перед безумными апостолами и его, хлыстовской какой-то, Богоматерью, то в Владимирский собор к павлинам, в чьих длинных хвостах заключены были тона «демона», пугавшего своею нечистью иных православных. Словом, школа бредила Врубелем.

И вот однажды наш хитрый старик вошел с каким-то стесняющимся человеком и молча, оставив его у нас, прошел к младшим.

Натурщик стоял последний день, и все увлечены были своими этюдами, старались напоследок «нагнать категорию».

Вошедший, одутловатый человек, какой-то серый по тону, с претенциозно завязанным галстуком, не по-русски эффектно присаживался то к одному ученику, то к другому и, ничего ему не сказав, отходил. Издали, тоже нам показалось — нарочито и театрально, не так как привыкли мы наблюдать классных учителей, он делал проверяющие жесты руками. Маленький ученик зафыркал.

Разумеется, никто ни о чем этого постороннего не спросил, так все охвачены были готовым представлени-

ем, что человек, который так себя смешно ведет, никакого отношения к живописи иметь не может. В лучшем случае, он мог быть меценат-дилетант.

Когда он ушел, наш декоратор сказал:

— Ну, счастье его, что он вокруг нас молча танцовал, сунься он учить, я б его двинул! Видать окончательно плохи дела нашей школки, что патрон меценатиков нам в будень день вкрапляет. Бывало, на одни музыкально-вокальные приглашал. Сейчас хозяевать ладятся.

На литературных вечерах школы обычно парадировали красавицы-дочки директора, а хор учеников, в усладу патриотических чувств важного посетителя, пел ему запрещенную «Сизу зозулю».

Вошел наш взволнованный старик. Порозовела тонкая кожа на богомазном его лике, с белой бородой и длинными волосами.

— Уехал. И теперь надолго, — огорченно сказал он. — Я нарочно его с вами, хлопцы, одного оставил, чтоб вы с ним без стеснения, у кого что на душе... Ну, как вы с ним тутесеньки размовляли?

Замерли мы. Чуем, а верить не хотим.

— Да что ж это вы, хлопцы?

Директор тоже вдруг понял: — Неужто Врубеля не узнали? Э, дурни...

Он обидно махнул рукой и вышел. А я вот и сейчас не забыл.

Прелестная старинная женщина, сестра художника, единственная опора его в годы тяжкой болезни, показала странное полотно непонятных по форме, но полных глубочайшей жизни сине-зеленых пятен.

— Это он написал русалок и замазал. Не понравилось. А ведь чувствуешь их здесь: я люблю эту вещь.

Сидели еще. Камин разожгли. И рассказала сестра художника о том, как он, слепой, там, в сумасшедшем доме, ужасно страдал. Ему чудилось, что он выпустил в мир на свободу какое-то плененное зло. Он на коленях оползал комнату, чтобы искупить, ослабить тот соблазн, который, в его больном воображении, казалось ему, через картину его вошел в мир. Сам же «Демон» ему чудился весь исполосован глубокими трещинами, уходящими куда-то в недра земли. Из трещин выползали огромные мокрицы. Часами он их смахивал и плакал...

Писатель, которого Сохатый любил, лечился от легких, и все думали, что у него чахотка, а он как-то, выкурив папиросу, откинулся на спину и умер от разрыва сердца.

Последний год жизни он много шутил. Человек входил к нему, он сидел на диване, на плече неизменный кот. С маленьким клокочущим заиканьем он требовал, чтобы вошедший непременно выпил чай и съел всё, что стояло на столе, даже, если он был сыт. Ему хотелось прежде всего человека накормить физически, потом он непременно расспрашивал про личные мелкие обстоятельства, не по кодексу любезности, а принимая человека в себя, отечески желая помочь ему, оберечь. И весь он был настороже, как-то взъерошен, чтобы помочь.

От болезни проступали резче его восточные черты, не из Ветхого Завета, а скорей из «Тысячи и одной ночи»: линия союзных бровей на белом прекрасном лбу дополнялась мысленно тюрбаном. Когда он топтался у входа в свою квартиру, увлеченный разговором, и долго, не входя сам, держал гостя у порога, темная ночь со звездами вдруг казалась не нашей, а очень южной, и замечательный разговор его о славянофилах с своеобразным

захлебываньем и горготаньем делал его не писателем русским, а каким-то халдейским магом, заблудившимся в наших снегах.

К концу жизни от него исходила особая радость, и было чувство, что он непреложно что-то получил и торопится раздать. В те дни невольного угасания интереса друг к другу, когда все силы направлены были, как у перегруженных лошадей, чтобы вывезти как-нибудь воз, его отеческая забота запоминалась.

Ничто не походило на то, что он у конца своей жизни. Только раз как-то, говоря о больших начатых работах, он просто, как о постороннем, со стороны сказал:

— Я их уже не окончу.

Как ни помещай себя человек в жизнь общественную, в смертный час он один. И умрет один. И как ни завалены дни делами, порой не забить им мыслишку: Ну, а как мне умирать? Что же пожелать себе самому в смертный час? Как в старину — тишины, созерцания, внутренней самоочистки, сведения итогов? Последней законной гордости — себе укрыться у себя же? Или, не заботясь уже ни о каких итогах и спецподготовках к смертному часу (а жизнь то на чем прошла?) — человек вдруг, в какую-то особую минуту, поймет, что самое облегчающее, это — всё отдать людям, тем, кто еще остается, притом отдать, не взирая на лица.

Эту готовность отцовства люди узнают безошибочно и тотчас влекутся.

К халдею шли охотно и раньше, потому что он был богат талантами, эрудицией, культурой, и общение с ним обогащало. Но сейчас шли, когда он и не звал, эрудиции от него не вымогали, говорили сами свое, да так, как говорить совершенно отвыкли, или даже не знали, что можно так говорить. И он сейчас умел слушать особенно.

Давал не интеллекту, не жажде познания, а казалось думал:

— Вот подкормить тебя всячески, а уж, насколько умен, настолько сам себе и выберешь.

Он хорошо смеялся, с захлебкой, горгоча детски горлом, и остря, взамен назидательных уроков, на которые так падки люди, влагая просящему камень вместо хлеба.

И был такой случай. Подбежал он на бульваре к человеку, которого зорко оглянул со спины. К Москве-реке с намерением шел человек. Суетливо перебрал ногами, затопал вслед, догнал сердито ворча, постучал кулаком в спину, его обеспокоившую.

— Ну, разве можно так?.. Ну, зачем же отчаяние? Нет денег... ну, дома плохо... знаю, знаю. Но только деньги есть.

Сунул деньги, отбежал и еще долго ворчал:

— По спине видно. Как это можно?

Ему было, конечно, всё равно, как его похоронят, но приехавшие родные позвали кантора.

Когда над ним, мертвым, лежащим в гробу, кантор, найдя какие-то нечеловечески точные, убеждающие и догоняющие сознание звуки, возгласил:

— Proffessore Michoelos!.. — казалось, он слышит, но ему уже окончательно не хочется говорить.

Когда же он лежал, усыпанный цветами уже в общественном месте, к нему подходили женщины и, крестясь, клали земные поклоны — тогда еще так прощались с ушедшим; несмотря на панихиду гражданскую, внезапно Сохатого за локоть тронул друг покойного — маленького роста человек, с совершенно детским, очень умным лицом. Он знал все книги мира, не читал уже их, а как-то взяв в руки, только обнюхивал и тотчас вспоминал весь текст.

Он имел собственную философию, был удивительный оратор-импровизатор; и, бескорыстно пребывая в атмосфере мысли, вместе с тем никогда ничего не написал, оплодотворив статьи многих. Этот человек был в очках, с которых, как крупный ливень по окну, лились слезы. Он не замечал и, непрерывно моргая умными глазами, ничего не видя и забыв, что очки можно снять и протереть, тихо пояснил:

— Я ведь не знал ничего. Я сейчас прочел газету и прямо сюда. Накануне я играл с ним в шахматы.

И еще раз совсем приблизив свое очкастое лицо к уху Сохатого, он сказал:

— Накануне...

Так сказал, что стало ясно, что ни минуты нельзя терять из своей жизни на вещи ненужные, если накануне можно играть в шахматы, а на завтра уж умереть.

На гражданской панихиде кто-то видный сказал пространную речь о машине, где есть шестерня, чьи зубцы — искусство, наука и общественная деятельность. И вот один из представителей, один из зубцов шестерни — такой-то — лежит пред нами мертвый. Но, надо надеяться, он будет скоро заменен новым зубцом, и шестерня пойдет, как ни в чем не бывало.

Тогда женщина, не собиравшаяся говорить и не оратор, попросила слова. Она сказала:

— Может быть, зубья в шестерне, о которой вы говорили, очень легко заменить новыми, но человек не совсем то же, что часть машины, и в собенности — такой человек, как был покойный. И заменить его не так уж просто.

— Слушай, Жуканец, — сказал Сохатый, — а мне подумалось, что оратор с зубцами сродни той девице,

что, прошагнув груды книг, не утруждая себя мышлением, разрешилась начальственно: — Выдайте пекарям всю букву Г.

— Гы... гы... романтика, — скажет читатель по адресу Сохатого.

Возможно. Но эта романтика дает очень реальные результаты, уже не говоря о том, что является одной из высших форм человеческого общения, имея много видов на всех поприщах общественной жизни и быта.

Тут справедливо нам вспомнить одного редактора, без которого образ крупнейших поэтов как бы незакончен. Ведь, редактор этот — вроде пушкинского «дядьки Черномора» — пестуна тридцати богатырей.

Он сопутствует Скифам, он способствовал расцвести во всю силу поэтам земель Рязанской и Олонецкой...

К сожалению, у нас довольно обычно, что редактор величина случайная. И кто только им не был? Он принимает или отвергает рукописи, из принятых лепит свой ежемесячник или еженедельник.

Но если редактор совершенно на своем месте, если он обладает сложным даром организатора, то он уже не лепит журнал, а создает живой организм.

Как у Чистякова ученики никогда не писали в однообразной манере репинцев и маковцев, так в редакции Черномора не водилось того прокрустова ложа, которое таили редакции былых толстых журналов. Он не оскоплял дарованья и не заставлял его искуственно раздуваться. Он создавал условия естественной выгонки творческих сил. У него была своя хитрая система для каждого. И вот, когда он уже стоящему на ногах беллетристу давал невзначай писать не интересную для того рецензию в журнал, тот не ершился, а брал по доверию. Каждый знал по

предыдущему опыту, что подталкивания, наводка, вся хитрая провокация Черномора имеют своей целью одно — раскрытие всех сил и их воспитание. Словом, писатель *верил* редактору, зная, что он бережет его больше его самого. Редактор же писателя выращивал.

Для людей слабых или творчества хаотического общение с Черномором было равносильно возможности их проявления. Так, помнится, один молодой беллетрист принес распухшее многолистье своего первого романа. Не мало провозился над бесформенным детищем редактор, в нем увидев «задатки». Он применил к нему весь свой инквизиторский метод: наводку тонким чтением вслух слабых мест. При этой «пытке чтением» вместо комментарий словесных, редактор умело делал вдруг преехидные паузы, либо перебрасывал иронически свою трубку в угол рта, либо, вовсе ее вынимая, выстукивал с таким, едва уловимым осуждением истлевшее курево, что писатель сокращал.

Только в редких случаях, когда метод не действовал, редактор брал карандаш и при писателе осторожно ампутировал сам.

Так из вышеупомянутого романа, страдавшего водянкой, была выпущена вся вода, для чего отхватить пришлось добрую половину. Оставшаяся половина так выиграла, что, увидя свет, оказалась «гвоздем» прозы того сезона, и автор ее сразу стал с именем.

Другой разительный пример остался в памяти от одного музыкального критика, с оригинальнейшими прозрениями в искусство и науку одновременно. Критик периодически выплывал откуда-то из провинции в разбойном обличьи. Зачастив к Черномору, он внезапно давал две-три незабываемо блестящих статьи. Отъехав обратно в провинцию, он умолкал.

Черномор, конечно, статей критику не диктовал, но своим острым даром сосредоточивать чужую несобранность он, как садовник, над нежным дорогим растением, бессильным подняться на холоде, опрокидывал собирающую тепло защиту, ограждал, выгревал, выгонял цвет.

Эта бережность, уважение, эта влюбленность в русскую литературу питали дарования, и Черномор трудное дело редакторства поднял на особую высоту. Он творил журнал, как новой формации режиссер, из заведующего спектаклем стал человеком, спектакль созидающим...

— Дамский манекен — это вещь, об ней возможно беспокоиться, — вдруг пренелепым выкриком спугнул Жуканец мысли автора. — Наш парикмахер, выходит, филозóв.

ВОЛНА ДЕВЯТАЯ

Надо заканчивать, и страшно.

Что ж это за произведение? — скажет читатель. — К какому роду его отнести? Как назвать? И, главное, с позволения спросить, для ка-ко-го оно читателя?

Уже есть благопристойный канон на подобное, когда запрашивают для газеты или для Пушкинского Дома, куда еще при жизни нас поместили, ибо, как с детской искренностью сказал один из ораторов:

— Велико удобство приема и отборки материалов за некоторое время до смерти авторов, оно значительно сокращает труд литературоведа.

Но здесь, воспользовавшись выкинутым флагом сумасшедшего корабля, возвратим на миг автору не только свободу — капризы мышления. И вот автор соблазнен ответить на вопросы вопросом.

— Правильно ли считать иной том достижением революционным только потому, что он махровеет красным маком классовой борьбы и соцстроительства, а повествуется в нем вяло, «от Адама», в стиле заимствованном

и без малейшего собственного ритма? Ритм и стиль бывают лениво присвоены то ли от классика, то ли от современника.

Между тем, le style c'est l'homme même и уж, конечно, *автор*. В художественной литературе не одни слова, — *стиль и ритм* важнейшие доказательства работы писателя. Ритм и стиль — профессиональный способ художника зафиксировать свое участие в жизни. И потому тот, кто замешивает стихи ли, прозу ли не на своих дрожжах, еще и не услышал музыки революции, как *художник*. Он дает меньше того, что получаешь от чтения газеты. Он не обладает ни протокольной точностью, ни живой тканью искусства. Мы же, доверяясь Полю Верлену, считаем, что только в какой-то мере найденной музыкой истекших лет может быть передано убедительней, чем словами, и *содержание* этих лет.

Что же касается читателя, то раз навсегда ответим: мы пишем для читателя, без его разбора на «подготовленного» и «неподготовленного». Это и есть признак нашего к нему подлинного уважения: сегодня не подготовлен — подготовится завтра. Книгу не однодневку, по-нашему мнению, надо писать с размахом на максимальный диапазон восприятия. Автор должен дать *наибольшее,* чем обладает, а не наименьшее.

Если читатель не в меру раздражен перескакиванием автора с эпизода на эпизод, да еще порой с заграничной прослойкой, то это раздражение тоже — вид «готовых суждений» и требует пересмотра.

Ведь одна из задач автора — раскрыть процесс припоминания, не спугивая его логикой. И вот — следствие искренности эмоциональной — в быт советский нет-нет а проскочит Париж.

Объяснимся: чем больше носит в себе писатель волнений междустрочных, тем больше затрата его нервных сил, и, читатель, автору просто хочется передохнуть.

Хорошо людям курящим, ну, а если автор не курит? Тогда автор отдыхает в «театре для себя». Так некий художник, участник французской революции, шагая на площадь Согласия вместе с революционерами, не вытерпел, чтобы не забежать в пленительную Шапель и глянуть на миг в многоцветье ее стекол на чудесный закат. Даже мясники с улицы Сен-Жак его не сочли дураком, а понимающе промолвили: — C'est son métier.

К тому же автор не так давно съездил заграницу, и в процессе припоминания, не спугнутом логикой, которым увлекся он в этой работе, впечатления эпохи военного коммунизма сами собой *перекрываются* впечатлениями последними.

Однако довольно идти навстречу критикам. Ведь даже громоотвод не всегда спасти может от молнии.

Продолжим сдачу русской литературы и всего, что составляло былую русскую стать.

Певец темный, с пронзительной силой увета — Микула был кряжист, широкоплеч, с огромной притаенною силой. Он входил тихонько, благолепно, сапоги мягки с подборами, армяк в сборку, косоворотка с серебряной старой пуговицей. Лик широкоскул, скорбно сладок. А глаз не досмотришься — в кустистых бровях глаза с быстрым боковым бглядом. В скобку волосы, масленисты, как у Гоголя, счесаны на-бок. Присмотревшись кажется, что намеренно счесаны, чтобы прикрыть непомерно мудрый лоб.

Нагнулся, чтобы достать что-то из-за голенища. Лоб сверкнул таким белым простором, под отпавшими при

наклоне космами, что подумалось: ой, достанет он сейчас из-за голенища не иначе, как толстенький маленький томик Иммануила Канта, каким хвастал один доктор философии. Зовется томик — Kant für sich — Кант для самообслуживания, издание портативное.

Однако, улыбнувшись вдруг бабьей улыбкой, как улыбаться могла бы разве одна "dame Korobotchka" — так она значится во французском переводе Гоголя — вытащил он из-за голенища обыкновенную трешницу в узелочке платка. Он сказал, придыхая, окая, прихлебывая широким рыбьим ртом в обвисших усах:

— Вот ношу денежки по мужицки, в узелке. Не удосужусь никак купить этот городской... как его?

Нет, ни за что не хотелось подсказать это будто забытое им портмонэ.

— А кто мне его подарит, за того помолюсь. Дома-то есть лик у меня древний, темный. . . и сладостен.

Стихи свои читал, как никто. Особенно врезался один раз, еще в веке прошлом.

С подкладкой, подползом, и вдруг всей мужицкой мощью, как конь кобылицу, покрыл всё религиозно-философское собрание, сорвал с мест, завертел вертуном.

Я видел звука лик и музыку постиг,
Даря уста цветку, без ваших ржавых книг...

А изысканный президиум, чтобы иметь право презирать его дурманный вихрь, сам утратив давно язычески жаркую силу веры, как за последнее дерево над бездной, хватался за догматы. Без бабьей теплоты, одним интеллектом, бескровно тянулись на носочках, чтоб не опачкаться об разнузданную плоть земли, делали дыбки, как годовалые, перед своим собственным кружковым укрытым в комнате богом. Ему ставили тонюсенькую, исто-

ченную неестественным восковым червем свечечку. Минуя старую крепкую церковь, причащались и мазались миром у некоего пиджачника, от чего тетка пиджачника-пастыря была в ужасе и восклицала зараз по-французски и с галлицизмом по-русски:

— Бог мой, да лучше мне помереть, как последний атеист, чем быть миропомазанной *через* нашего Кокó — être ointe par Coco!

И вот, помнится, «они» председательствовали. А Микула, почитаемый ими за авангард антихристов, пробрался незванно-негаданно, да как грянет с кафедры на президиум и на всю залу:

Беседная изба — подобие вселенной.
В ней шолом — небеса, полати — млечный путь,
Где кормчему уму, душе многоплачевной
Под веретенный клир усладно отдохнуть.

Он топотал, ржал в великепном вдохновении. Он взвихрил в зале хлыстовские вихри, вовлекая всех в действо «беседной избы». Он вызывал и восхищение, и почти физическую тошноту. Хотелось, защищаясь, распахнуть форточку и сказать для трезвости таблицу умножения.

Космос, не просветленный Логосом, предтеча Антихриста...

И дрожали мелкой внутренней дрожью, кое-кто крестил себя неутомительным коротеньким крестом, как генерал староста, по одним пуговицам, не ниже орденов.

Микула любил вязать чулок, печь в русской печке хлебы, несказанно и любовно произносить имена разнообразнейших богородиц и, как женщина, любил с женщи-

ной подругой поплакать. В восторге же стиха пребывал непрестанно, о чем песенно заявлял:

Мужицкая душа, как кедр зеленотемный,
Причастье божьих рос неутолимо пьет.

Когда стих вызревал, он читал его, где и кому придется. Читал на кухне кухарке и плакал. Кухарка вскипала сладким томлением и, чистя картошку, плакала тоже.

И всё таки, по интеллигентскому скепсису, не верилось до самой последней встречи, когда на поминальном вечере по ушедшему самовольно другу, он справил свои неслыханные поминки, — что ни за голенищем, ни в глубоких карманах его неизменного армяка у него не таится берлинский Kant für sich в одном томике.

На поминальном вечере зал был полон и взволнован отвратительно. На зрителях — нездоровый налет садизма. Пришли не ради поэзии, а чтобы на даровщинку удобно, но в меру остро поволноваться, замирая от стихов, за которые не они заплатили жизнью.

Выступали певцы и декламаторы, уже обычно и развязно стригли с «Письма матери» купоны, зарождали ярый гнев Маяковского.

Настал черед и Микулы. Он вышел с правом, властно, как поцелуйный брат, пестун и учитель. Поклонился публике зе́мно — так дьяк в опере кланяется Годунову. Выпрямился и слегка вперед выдвинул лицо, с защуренными на миг глазами. Лицо уже было овеяно собранной песенной силой. Вдруг Микула распахнул веки и без ошибки, как разящую стрелу, пустил голос.

Он разделил по́мин души на две части. В первой его встреча юноши-поэта, во второй — измена этого юноши пестуну и старшему брату, и себе самому.

Голосом, уветливым до сладости, матерью, вышедшей за околицу встретить долгожданного сына, сказал он свое известное о том, как

С Рязанских полей коловратовых
Вдруг забрежжил коноплевый свет.
Ждали хама, глупца непотребного,
В спинжаке, с кулаками в арбуз,
Даль повыслала отрока вербного,
С голоском, слаще девичьих бус.

Еще под обаянием этой песенной нежности были люди, как вдруг он шагнул ближе к рампе, подобрался, как тигр для прыжка, и зашипел язвительно, с таким древним, накопленным ядом, что сделалось жутко.

Уже не было любящей, покрывающей слабости матери, отец-колдун пытал жестоко, как тот в «Страшной мести» Катеринину душу, за то, что не послушала его слов. Не послушала и вот —

...На том ли дворе, на большом рундуке,
Под заклятою черной матицей,
Молодой детинушка себя сразил...

Никто не уловил перехода, когда он, сделав еще один мелкий шажок вперед, стал говорить уже не свои, а стихи *того* поэта ушедшего.

Чтоб воочию представить уже подстерегавшую друга гибель, Микула говорил голосом надсадным, хриплым от хмеля.

И я сам, опустясь головою,
Заливаю глаза вином,
Чтоб не видеть в лицо роковое...

Было до тонкой верности похоже на голос того, когда с глухим отчаянием, ухарством, с пьяной икотой он кончил:

Ты Рассея, моя... Рас... сея...
Азиатская сторона...

С умеренным вожделением у публики было кончено. Люди притихли, побледнев от настоящего испуга. Чудовищно было для чувств обывателя это нарушение уважения к смерти, к всеобщим эстетическим и этическим вкусам.

Микула опять ударил земно поклон, рукой тронув паркет эстрады, и вышел торжественно в лекторскую. Его спросили:

— Как могли вы...

И вдруг по глазам, поголубевшим, как у Врубелевского Пана, увиделось, что он человеческого языка и чувств не знает вовсе и не поймет произведенного впечатления. Он действовал в каком-то одном ему внятном, собственном праве.

— По-мя-нуть захотелось, — сказал он по-бабьи, с растяжкой. — Я ведь плачу о нем. Почто не слушал меня? Жил бы! И ведь знал я, что так-то он кончит. В последний раз виделись, знал — это прощальный час. Смотрю, чернота уж всего облепила...

— Зачем же вы оставили его одного? Тут то вам и не отходить.

— Много раньше увещал, — неохотно пояснил он. — Да разве он слушался? Ругался. А уж если весь черный, так мудрому отойти. Не то на меня самого чернота его перекинуться может! Когда суд над человеком свер-

шается, в него мешаться нельзя. Я домой пошел. Не спал, ведь — плакал.

При встрече в обычном домашнем быту, то же очарование от него, пока из-за пустяков, из-за одной черточки — станет вдруг как человеку от нечеловеческого. Да, эллина не было в нем.

Как-то пришел чай пить, и на хлебные крошки из подполья вышли две крысы — мать и дочь. Знали мы их, прикармливали. Увлеченные опытами Дурова, окончательно хотели приручить. Ничего себе, умные крысы. Дочь Машенька, мать Патрикеевна. А он увидал, как вскочит, как закрестит их и себя. И этак зловеще:

— Не к добру... Не к добру. Не к добру.

На утро, помнится, поймал соседний мальчик Патрикеевну и топил в ведре. Кричала она, как человек, а ей в ответ все подполье.

Наступили события.

И что ж память удержала, как первую тревогу, опять не похожую на уже пережитые? От нее сжалось тело в комок и как-то вдруг высохло, и в нем, как в пустом колоколе бьется язык, слышным стуком заколотилось сердце. Все люди стали легкими, небольшими и замолчали. Закричали столбы.

Первое воззвание было набрано разнообразнейшим шрифтом. Подзаголовок в восклицательных знаках.

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ШПИОНОВ!

СМЕРТЬ ШПИОНАМ!

...По городу расхаживают подозрительные личности и распространяют разные слухи. Среди этих личностей есть просто болтуны, досужие сплетни-

цы, но есть также и определенные шпионы. Цель их создать панику и использовать смуту для новой интервенции. Цель иностранных хищников поработить Россию. Все попытки кончались их поражением, теперь же они пробуют взорвать Россию изнутри, чтобы взять ее голыми руками. Военный Совет (Комитет Обороны) считает своим долгом...

И заключение толстыми черными буквами, как подзаголовок

БЫТЬ НА СТРАЖЕ!

Читали, невольно оглядываясь. Шпионы, казалось, разлиты в толпе, как запахи. Опять обывателю стало страшно и ново, как в феврале, во время первых услышанных пулеметов. Когда ходил он по улицам под непривычно голубым в те дни небом и ярким солнцем и не знал, дойдет или нет до дома. А город стоял такой знакомый, свой, с четырьмя недвижными лошадьми на мосту, со стражем Невского — Адмиралтейством. Сейчас было еще страшнее. Сейчас заметались, как больной в смертельной болезни с еще ненайденным диагнозом — где опасность? как ее распознать?

Не поспевали усвоить одно, завтра новое на столбах. Столбы безмолвно объединились. Столбы стали провозглашать. Когда, кто наклеивал воззвание — было неуловимо. Желтоватые бумажки за ночь выдавливались, как бы самосильно, из глубины столбов на поверхность. Любители коллекционеры, которые и в свой последний смерт-

ный час умудрятся что-нибудь сколлекционировать, работали, не покладая рук.

ОТ КРАСНЫХ КУРСАНТОВ РАБОЧИМ

И РАБОТНИЦАМ ПЕТРОГРАДА!

Этот листок был слеповат печатью, однообразен и носил несколько частный характер — курсанты срамили Трубочный завод, который вчера бросил работу. Доводы убеждений были замечательны для характеристики времени.

...Мы курсанты, дравшиеся на всех фронтах за рабоче-крестьянскую власть. Мы рабочие с мозолистыми руками, нас тысячи в Питере. Мы живем так же, как и вы, мы *питаемся* так же, как и вы...

Это «питаемся так же, как и вы» в те дни не прозвучало наивно. Именно оно могло тронуть и убедить. Оно безошибочно доходило до сознания. В самом деле, те же условия и такие же рабочие, а вот мыслят и действуют иначе. Уж не правы ли они?

Миг, и стали опять все у предела. Ели старую сушеную заячью травку, собранную летом вдоль канав, на пространствах, где спорились хозяйки из-за мест, не оциканных песиками. Ели жмыхи и опять мерзли так, что в квартиру с температурой в 2-3 мороза приводили греться больных.

...Мы питаемся так же как и вы, но мы знаем, что лишь медленным и упорным трудом, вместе с советами, мы одолеем голод и разруху, мы улучшим все учреждения. Другого пути нет. Другой путь с Деникиным, помещиками и капиталистами...

Воззвание курсантов обеспокоило обывателя. Он испугался, что среди рабочих начнется раскол. Обыватель уже не верил эмигрировавшей власти. Она имела возмож-

ность в свой миг сделать историю и не сделала. Взяли и удержали одни «эти». «Эти» сильнее всех, и уж остаться б при этих.

События наростали. Столбы выбросили первый приказ Военного совета (комитета обороны). Набран был каждый абзац другим шрифтом. За тревожным состоянием, лишавшим возможности работать, изучалось психологическое воздействие шрифтов. Едва ли, впрочем, оно здесь могло быть сознательно примененным. Однако воздействие шрифтов было бесспорно.

Отсутствие большой буквы после точки, когда непременно ее ожидаешь, создавало спешную, непреклонную деловитость, почти судьбу. Круглые жирные буквы, крупные дробинки, откатившиеся одна от другой, били, как попавший в цель залп.

Этот залп гласил, что:

Постановлением Исполкома Петросовета проведение военного положения в Петрограде возлагается на Военный совет (Комитет обороны).

Комитетом категорически воспрещаются всякие хождения по улицам, позже 23 часов.

От волнения вычитали все тут же из 23 12, и цифра получалась различная.

После хором читали черные, сильные буквы:

ВИНОВНЫЕ В НЕИСПОЛНЕНИИ ПРИКАЗА БУДУТ ПРИВЛЕКАТЬСЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ВСЕЙ СТРОГОСТИ ЗАКОНОВ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ.

ВХОДИТ В ЗАКОННУЮ СИЛУ С МОМЕНТА ОПУБЛИКОВАНИЯ.

Положительно, в столбах, с воззваниями была самостоятельная жизнь. Едва прочел, уже пойман, уже отвечаешь. Прочитанное вошло в законную силу.

Особенным, со стихами, запомнилось воззвание

К РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ!

Каждое слово торжественно, с большой буквы. Наверху справа: «*Пролетарии Всех Стран, Соединяйтесь*» — в кавычках, не как ставшая прописной истина, а как свежий клич.

Опять тяжелые дни на питерских фабриках и заводах.

У нас недостаток топлива. Без топлива не сдвинешь транспорта. Без транспорта нет хлеба. Голодают рабочие, обносившиеся, усталые.

Дальше шло подробное сообщение о том, как «разводят волынку», призывая рабочих бросать работу.

Волынками не изживешь ни холода ни голода.

И были стихи, с обилием прописных букв, знаков вопросительных и восклицательных, невольно читавшихся с упором на согласные.

Неужели молодежь, чьи пламенные души
Горели, как костры, в их солнечной груди,
Хотя бы и на миг в себе ту мысль задушит,
Чтоб быть в труде и в битве впереди?

Кончались стихи так:

Внемлите, как кричат вам молодые братья,
Нет! Нет! Не верим! Нет! Не верим! Это ложь!
Изменникам позор! Предателям проклятье!
Рабочие, к станкам. На помощь, молодежь.

Петроградский Совет Профсоюзов к своим членам обратился кратко, но красочно:

Снова у подступов Красного Петрограда появился золотой погон. . .

И боевое предложение: на каждый удар врага ответить двумя ударами — молотом и винтовкой!

На следующий день столбы выбросили уже не одиночные, а двудольные листы, где было объявлено об аресте мятежных матросов, делегатов и семей бывших военных — участников мятежа. Комитет объявлял всех заложниками за тех товарищей, которые задержаны были в Кронштадте, в особенности за комиссара Балтфлота и председателя Совета.

Если хоть один волос упадет с головы задержанных товарищей, названные заложники ответят головой.

На другой дольке листка без восклицательного, казалось бы, здесь такого необходимого знака, стоял лапидарный подзаголовок:

Д О С Т У К А Л И С Ь

К ОБМАНУТЫМ КРОНШТАДТЦАМ

И, как растущий набат:

СДАВАЙТЕСЬ СЕЙЧАС.
СДАВАЙТЕ ОРУЖИЕ.
ПЕРЕХОДИТЕ К НАМ.
НЕМЕДЛЕННО.

Наконец, в один легкий, уже совсем весенний день, в

четырнадцать часов, за подписями Предвоенсовета Республики, главкома, командарма, начпореспа:

К ГАРНИЗОНУ КРОНШТАДТА и МЯТЕЖНЫХ ФОРТОВ!
НАСТОЯЩЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПОСЛЕДНИМ.

Как-то вечером, в эти последние мятежные дни, в тесной комнате Копильского сидели молодые писатели и дискуссировали, правильно ли они поступили, назвав свой союз именем, которое для публики прозвучало, как нарушение самой сущности их объединения.

Придуманное имя вызвало ассоциации подражания и преемственности, то-есть как раз то, чего они не хотели, чего по существу не было вовсе.

Эти молодые собрались не по признаку однородности и логики. Не потому ли они упоминаются и в Сумасшедшем Корабле? Сейчас, когда их союзу истекает десятилетие, хорошо вспомнить, как поэт, пришедший в кружок их последним, сейчас оказавшийся родоначальником совсем новой лирической взволнованности, первым у источника еще не бывших сопоставлений — события, человека, зверей, вещей и даже «гвоздей», в те дни, о которых здесь речь, скромно сказал:

Мы зажигаем свой огонь,
Чтобы сварить похлебку.

При обзоре объективном эта «похлебка» оказалась делом важным и нужным. Она замешана была на принципе сохранения самого искусства, когда истории страны было не до искусства. Они подставили свои плечи и пронесли этот

выпавший груз истории. Эти *молодые* оказались в те дни представителями почти всех форм литературы, удельный же вес каждого определился только теперь, когда некоторые из них уже накануне того, чтобы, взяв под мышку Собсоч, прошагнуть в историю литературы. Но это особая тема.

Сейчас речь только о тех днях, когда в их кружке дифференциации не было, и все скопом пришли «на огонь». Был у них пламенный уголь, чтоб разжечь этот огонь, — тот юноша, богатый дарами, который нами упомянут в начальной волне.

Он ушел слишком рано, но знамя выбросить он успел.

— Мы — братство — требуем одного, чтобы голос наш не был фальшив.

— Мы верим, что литературные химеры особая реальность.

— Искусство реально, как сама жизнь.

И вот на зажженный огонь сошлись люди столь различные, что, встреться они не в литературе, а в жизни, им вместе было бы нечего делать. И говоря о них ни одного признака нельзя обобщать. Качество одного оборачивалось у другого как раз в противоположное, и это в них было занятно и давало их союзу богатство.

У них был поэт способный жить бытом пещерного человека, в пробегании пространств с ним мог лишь сравняться верблюд. Был и «брат алеут» — изумительный дарами. Пряный и душный, как персидская дыня, которой много не съешь.

Однако в литературе все они объединились под формулировкой своего критика.

«. . .Конечно, живое искусство не в приеме. Голый прием, его «обнажение», еще не искусство, а только механика искусства.

Одухотворяется же искусство именно сокрытием приема, маскировкой его схем путем ввода бесконечно-многообразного, жизненного, идейного и психологического материала, что и создает иллюзию не искусственного, а «реальнейшего» мира.

В быту *молодые* были бодры. Упираясь длинными ногами, выходящими далеко за пределы его походной кровати, в те дни, когда согреваться и питаться приходилось одною козьей ножкой, Копильский философически изрекал:

— Положение отчаянное — будем веселиться!

А женщина, тоже поэт (не поэтесса), в союзе с верным своим Пятницей — «Лирической Музой» утверждала за всех:

И мы живем, и Робинзону Крузо
Подобные — за каждый бьемся час.

Да, в те дни *молодые* были еще все очень молоды, и мужественны, и бодры. И тем более странно, что не фактически, а непрошенным подсознанием они со стороны воспринимались, как перестарки после тяжкой болезни. И в пику всякой логике кажется, что *по-настоящему* они помолодели много поздней и молодеть продолжают. В те же дни юность, в смысле германского романтизма, с которым повелось и в нашей литературе отожествлять это слово, и не глядела из их умных, знающих и уже утомленных глаз.

Про Вертера они, конечно, знали из книги, но встреться он им живой, они бы не подхватили его с смелой любовью, как Гете, а выхолостили б в чистого дурака.

Впрочем, они так и сделали.

Вертер, конечно, жил в каждом из них, потому что они были поэты, но каждый расправился с ним по-свойски, как бы мстя за усложнение психологии не по времени. Кто споил своего Вертера в ресторациях Польши и забил его право на первенство в памяти читателя победно вздернутым над Вислой конем; кто иронически сочетал его просто-напросто с козой, да так прочно, что уж если читателю вспомнится, то непременно пусть вместе; кто в стихах забросил Вертера, как мяч в облака.

Один, страшно умный, укрыл его в собственной эрудиции. Своего Вертера он выщелкнул в персонаж исторический с твердой репутацией скептика, базируясь безошибочно на вкусе читателя к готовым представлениям. Уверенный таким образом в маскировке, надел на маленькие руки слишком твердые кожаные перчатки, взял палку с набалдашником хорошего тона и с видом «я не я, и лошадь не моя» пустился читать пресодержательные и хорошо посещаемые лекции.

Впрочем, отношения с Вертером их вполне личное дело. Несколько хуже, что с темой женщины они расправились соответственно. Они запомнили женщину на фронтах, в безликости беженства, худосочии голода, добычи пайков, и женщина, полнокровная, родоначальница и любовь, в наказание за небрежность трактовки, за не выделенность, недооценку ее темы, женщина сама ушла с их страниц, оставив на всё про всё одну Анну Тимофевну. «Актрисы» и разнообразие проституток обернулись экзотикой вместе с достойнейшей из воспетых тигриц — Дэзи.

Впрочем, жениться они сумели как раз не глупо. Жены их были не жены писателей, а сами по себе. С «отцами», как новое со старым, они разошлись, они сдали своих отцов в хозяйство своей музе, как утильсырье.

Казалось, и детей они завести должны побояться — кто обладал чутким сном, кто предвидел сокращение жилплощади.

Животный мир, как профессионально нечистоплотный, был ими изгнан из сферы общения. Исключением мог быть случай, вроде того, когда приблудившийся кот представлял из себя вдруг такой раритет, что, строго говоря, он уже был не кот, а кто его знает, кто.

Совершенно без хвоста, непрестанно тростил головой и, вместо лукоморья и пушкинских сказок, качаясь на ходу, как пьяный какой землемер, он кружил вокруг ножек стола. А котохозяева, иронический критик с красивой женой, утешались домашним животным.

Эти молодые, казалось, и цветов не любили в цветочных горшках; им земля была пачкотней, они предпочитали цветы-однодневки в рюмке с водой. Земля могла развести сырость, а после фронтов они чихали легко и длительно.

Итак, издали казалось — они кой в чем всё-таки были обобраны обстоятельствами. Возможно — временно. Непосредственность, щенячий сил избыток, так бивший через все края в литературных их делах, у них съеден был войнами и ломкою быта.

Возможно, что всё это напраслина. Многие предположения автора уже фактически опровергнуты, но иносказание и не относится к биографиям.

Зато они имели несомненные преимущества. Они видели, слышали, особенно констатировали превосходно и с своей задачей связать воедино две эпохи, не предавая искусства — они справились.

В те годы, сбившись в крепкий плот, они, как на пароме, перевезли на себе через бурную реку событий всё важное для жизни искусства на берег новый. Притом ничуть не претендуя быть аргонавтами. За ними другие

пришли на готовое. Овеянные цветными их ветрами, окруженные говором и повадкою новых граждан Союза, интуитивно угаданных и закрепленных на пустом еще месте одним из них до такой степени верно, что скоро столицы, уезды и улицы повторили их в точности, нимало не заметив, что живут плагиатом. Единственный случай в литературе, когда писателем был угадан не единоличный герой, а выхвачен целиком весь быт грядущего.

Удивительно, что жюри старых писателей, в закрытом голосовании, из множества поданных на конкурс работ, выбрали рассказы только этих *молодых*. Из них первым оказался писатель, который, по пафосному пророчеству Аковича — «должен стать восстановителем лучших традиций большой русской литературы». Его читатель полюбит за ясную летопись быта, за возрожденную русскую женщину, за...

Впрочем, перебирать отдельно заслуги и качества каждого из тех *молодых,* повторяем, предмет не этой работы. Объективность летописателя требует помянуть в Сумасшедшем Корабле только, когда они всем скопом, в своем еще недифференцированном виде, варили похлебку, замешанную на принципе сохранения искусства.

Сейчас *молодые* сидели у Копильского, кто на окне, кто на столе, как петухи перед рассветом непрочно сидят на жердях.

В дверь постучали, и вошел вдруг Микула.

Возможно, и даже наверно, что он вошел мимоходом, случайно, и весь нижеследующий узор его чтения принадлежит исключительно склонности автора к фантастическому обобщению. Пусть так, но всё-таки, когда с дерева падает яблоко, и это видят Ньютон и мальчишка, первый открывает закон тяготения, второй бросается падалку съесть. Здесь нескромности автора нет. Propor-

tions gardées. Но немного подобного меду, читатель, вокруг нас на каждом шагу.

Итак, под треск пулеметов, под гул орудий, под гибель интеллигентского эсэрства, такого русского, в своей романтике, с неслыханной идеей террора, возведенного в систему, — мужицкий гений Микулы принес молодым свое русское древнее слово.

Он вошел к ним, приземистый, обросший, тяжкий, земляной, как Вий, он не сел, он остался стоять. Стоя читал:

Ангел простых человеческих дел
В душу мою жаворонком влетел...

Читая Микула разъярялся. Космы отросших волос ему прянули на глаза. Он сквозь космы сверлил голубыми, пьяными от лирных волнений и сверкающими, и гаснущими от вспененных чувств взорами. Порой, — как одержимый элевзинским таинством, помавая тирсом, воскликнет вдруг «эвоэ!» — он взрывал мощным голосом:

Радуйтесь братья, беременен я
От поцелуев и ядер коня.

И к черту — рыцарство, с худосочной дамой, Дантову розу, россианскую красну-девицу, всё начало женское, змею, кусающую собственный хвост... Прославлена от земли в зенит вертикаль. И она — мать, рождающая самосильно.

Никогда, может быть, не было такого возвеличения начала женского, идеи женской, — церковью, философией, бытом хитро сведенной к метафизическому и всякому «приложению» мужчины. В этой мужицкой, хлыстовской, глубоко русской концепции, впервые женщина возносилась в *единицу* самостоятельной ценности, как

мать. Прочее всё — дама, роза, мистика, дева — отметается, как баловство.

Вскрывались внезапно и находили оправдание глубины народные, даже то, что казалось бессмыслицей и похабством. И вдруг подумалось — быть может, бессознательной тягой к лону матери, тягой к темному, уберегающему материнскому охранению и досадой, что его уже нет, объясняется происхождение всего ужасающего, единственного в мире российского мата.

Окончил Микула стихи свои плача.

Молодые, кто здесь, кто там, смотрели внимательно вежливо, и глаза их были сухи.

Они заговорили поочереди. Они отлично поняли и оценили силу стиха, богатство образов, узор языка, но им было всё равно. Они кондовую мощь Микулы восприняли со стороны, как иностранцы, как тончайший Проспер Мериме воспринимал Гоголя. Весь пафос Микулы, который целиком зачался, рос и ветвился славянской вязью, был для них таким же прошлым, каким земля на китах. Чем мог он задеть молодых? Они ведь только отталкивались от этого прошлого для дня сегодняшнего. Прошлое было им, как цыплятам в инкубаторе скорлупа, из которой скорей надо выторкнуться.

Но зато Микуле они разъяснили его самого всеми методами, напоследок формальным.

Микула молча шарахнул острым оглядом по углам — образов, конечно, уж не было — шарахнул по внимательным вежливым молодым, прослушавшим его, старого, и сказал, как несытый:

— Пойти бы куда... дух томится.

Все сроки, предупреждения окончились, а Кронштадт всё еще не сдавался. Ленинград открыл ураганный

огонь. Курсантам выдали саваны. Один из писателей, ныне профессор, вместе с членами партсъезда отверг белый саван и черной мишенью, рискуя больше других — пошел впереди.

Курсанты в белых саванах, не отличимые от снега и льда, взяли форты.

Скоро потом завершилось и существование Сумасшедшего корабля. Решено было, из соображений хозяйственных, этот дом, населенный писателями, ликвидировать. Шли переговоры. Дом пытались отстоять.

Однажды громадный человек грузно перевалился через порог. Он снял свою кепку, придававшую ему вид породистого адмирала. Но адмиралом он никогда не был. Он был только умнейшим русским человеком такой широты, которая захлестывала порой и его самого. В довоенное время он весил двенадцать пудов, в те дни только девять. Написанные им книги — образец чудесного языка, который, возможно, будет сдан тоже в архив истории.

Разводя руками перед собственным объемом и отдуваясь, он сказал:

— Ну... я сделал для русской литературы всё что мог. Я передал Дом Искусства — Деловому клубу.

Ленинград. Октябрь
1930 г.

КНИГИ ПРОФ. Г. П. СТРУВЕ

SOVIET RUSSIAN LITERATURE. G. Routledge & Sons. London, 1935.

25 YEARS OF SOVIET RUSSIAN LITERATURE. G. Routledge & Sons. London, 1944.

HISTOIRE DE LA LITTERATURE SOVIETIQUE. Edition du Chêne. Paris, 1946.

PRACTICAL RUSSIAN (with E. A. Moore). Arnold. London, 1946.

РУССКИЙ ЕВРОПЕЕЦ. **Материалы для биографии и характеристики князя П. Б. Козловского.** Изд. «Дело». Сан Франциско, 1950.

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА В ИЗГНАНИИ, **Опыт исторического обзора.** Изд. имени Чехова. Нью-Йорк, 1956.

GESCHICHTE DER SOWJETLITERATURE. Isar Verlag. München, 1957.

КНИГИ ПОД РЕДАКЦИЕЙ ПРОФ. Г. П. СТРУВЕ. ПЕРЕВОДЫ

Георг (Джордж) ОРВЕЛ. СКОТСКИЙ ХУТОР. Перевод с английского М. Кригер и Г. Струве. Изд. «Посев», Франкфурт, 1950.

НЕИЗДАННЫЙ ГУМИЛЕВ. **Отравленная туника и другие неизданные произведения.** Под редакцией и со вступительной статьей, биографическим очерком и примечаниями Г. П. Струве. Изд. имени Чехова. Нью-Йорк, 1952.

Марина ЦВЕТАЕВА. ЛЕБЕДИНЫЙ СТАН. **Стихи 1917-1921 годов.** Приготовил к печати Г. П. Струве. (Предисловие, примечания, биография — Г. П. Струве). С вступительной статьей Ю. П. Иваска. Мюнхен, 1957.

RUSSIAN STORIES — РУССКИЕ РАССКАЗЫ. A. Bantam Dual-Language Book. Edited by Gleb Struve. With translations, critical introductions, notes and vocabulary by the editor. Bantam Books. New York, 1961.

SEVEN SHORT NOVELS BY CHEKHOV. With an Introduction and prefaces by Gleb Struve. Bantam Books. New York, 1961.

КНИГИ, ВЫШЕДШИЕ ПОД РЕДАКЦИЕЙ Г. П. СТРУВЕ И Б. А. ФИЛИППОВА

Осип МАНДЕЛЬШТАМ. СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ. Под редакцией, со вступительными статьями и комментариями Г. П. Струве и Б. А. Филиппова. Изд. имени Чехова, Нью-Йорк, 1955. (Распродано).

Борис ПАСТЕРНАК. СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ **в трех томах.** Под редакцией и с комментариями проф. Г. П. Струве и и Б. А. Филиппова. Со вступит. статьями графини Ж. де Пруаяр и В. В. Вейдле. Изд. Мичиганского университета. Анн-Арбор, 1961.

Николай ГУМИЛЕВ. СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ **в четырех томах.** Под редакцией проф. Г. П. Струве и Б. А. Филиппова. Изд. В. П. Камкина. Том первый, подготовлен к печати Г. П. Струве, с его вступительной статьей и комментариями. Вашингтон, 1962.

КНИГИ БОРИСА ФИЛИППОВА

КРЕСТЫ И ПЕРЕКРЕСТКИ. Рассказы и очерки. Изд. В. П. Камкина. Вашингтон, 1957.

ВЕТЕР СКИФИИ. Стихи 1942-1959. Вашингтон, 1959.

НЕПОГОДЬ. Стихи 1942-1960. Вашингтон, 1960. (Распродано).

СКВОЗЬ ТУЧИ. Повесть в четырех рассказах. Вашингтон, 1960.

ПЫЛЬНОЕ СОЛНЦЕ. Рассказы. Вашингтон, 1961.

БРЕМЯ ВРЕМЕНИ. Стихи 1942-1961. Вашингтон, 1961.

РУБЕЖИ. Стихи 1942-1962. Вашингтон, 1962.

ПОЛУСТАНКИ. **Мимолетности,** ни на что не претендующие. Рассказы. Вышингтон, 1962.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКАТУЛКА. Рассказы. Вашингтон, 1963.

КОЧЕВЬЯ. Рассказы. Вашингтон, 1964.

СТЫНУЩАЯ ВЕЧНОСТЬ. Стихи 1941-1963. Вашингтон, 1964.

КНИГИ, ВЫШЕДШИЕ ПО РЕДАКЦИЕЙ Б. А. ФИЛИППОВА

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ. ЗАПИСКИ ИЗ ПОДПОЛЬЯ. Со вступительной статьей Б. А. Филиппова. Изд. «Посев». Кассель, 1946. (Распродано).

Михаил ЗОЩЕНКО. О ЧЕМ ПЕЛ СОЛОВЕЙ. Со вступительной заметкой Б. А. Филиппова. Изд. «Посев». Кассель, 1946.

Константин ЛЕОНТЬЕВ. ЕГИПЕТСКИЙ ГОЛУБЬ. ДИТЯ ДУШИ. Под редакцией и со вступительной статьей Б. А. Филиппова. Изд. имени Чехова. Нью-Йорк, 1954.

Николай КЛЮЕВ. СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ **в двух томах.** Редакция, вступительная статья и комментарии Б. А. Филиппова. Изд. имени Чехова, Нью-Йорк, 1954.

СОВЕТСКАЯ ПОТАЕННАЯ МУЗА. **Из стихов советских поэтов написанных не для печати.** Под редакцией и со вступительной статьей Б. А. Филиппова. Изд. И. И. Башкирцева, Мюнхен, 1961.

Николай АРЖАК. ГОВОРИТ МОСКВА. Повесть. С предисловием Б. А. Филиппова. Вашингтон, 1962.

Николай АРЖАК. РУКИ. ЧЕЛОВЕК ИЗ МИНАПА. Рассказы. С предисловием Б. А. Филиппова. Вашингтон, 1963.

Абрам ТЕРЦ. ЛЮБИМОВ. Повесть. С предисловием Б. А. Филиппова. Вашингтон, 1964.

Леонид БОГДАНОВ. В СТОРОНЕ ОТ БОЛЬШОЙ ДОРОГИ. Рассказ. Вступительный очерк «Богдан» Бориса Филиппова. Вашингтон, 1964.

НАХОДЯТСЯ В ПЕЧАТИ

Николай ГУМИЛЕВ. СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ в четырех томах. Под ред. проф. Г. П. Струве и Б. А. Филиппова. Том второй, со вступительной статьей и комментариями Г. П. Струве, Изд. В. П. Камкина. Вашингтон, 1964.

Осип МАНДЕЛЬШТАМ. СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ в двух томах. Под редакцией проф. Г. П. Струве и Б. А. Филиппова. Вступительные статьи проф. К. Ф. Брауна, проф. Г. П. Струве, Э. М. Райса, Б. А. Филиппова. Том первый — Стихотворения. Том второй — проза. Вашингтон, 1964.

Николай ЗАБОЛОЦКИЙ. СТИХОТВОРЕНИЯ. Под. ред. Б. А. Филиппова и проф. Г. П. Струве. Вступительные статьи Б. А. Филиппова и Э. М. Райса. Вашингтон, 1964.

Борис ЗАЙЦЕВ. ДАЛЕКОЕ. Воспоминания. Очерки. Вашингтон, 1964.

Николай АРЖАК. ИСКУПЛЕНИЕ. Рассказ. Предисловие Б. А. Филиппова. Вашингтон, 1964.

Борис ФИЛИППОВ. ЖИВОЕ ПРОШЛОЕ. О русской литературе и культуре. Вып. 1. Вашингтон, 1964.

Ф. М. ДОСТОВСКИЙ. ПРОПУЩЕННАЯ ГЛАВА «БЕСОВ». С приложением других материалов (из записной книжки Ф. М. Достоевского). Вашингтон, 1964.

ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX ВЕКА. Антология, составленная проф. С. Л. Франком (†). Посмертное издание. Редакция и вступительная статья В. С. Франка.

Максимилиан ВОЛОШИН. СТИХОТВОРЕНИЯ в двух томах. Под редакцией и со вступительными статьями Б. А. Филиппова и проф. Г. П. Струве.

Николай ГУМИЛЕВ. СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ в четырех томах. Под редакцией проф. Г. П. Струве и Б. А. Филиппова. Том третий. Театр. Вступ. статья проф. К. Ф. Тарановского. Том четвертый. Проза. Вступ. статья Б. А. Филиппова.

Анна АХМАТОВА. СОЧИНЕНИЯ в двух томах. Под редакцией проф. Г. П. Струве и Б. А. Филиппова. Вступит. статьи проф. Г. П. Струве, Б. А. Филиппова и др.

Николай КЛЮЕВ. СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ в двух томах. Изд. 2-е, значительно дополненное и исправленное. Под ред. Б. А. Филиппова и проф. Г. П. Струве. Вступит. статьи Б. А. Филиппова, проф. Г. П. Струве, Э. М. Райса и других.

Эммануил РАЙС. АНТОЛОГИЯ РУССКОЙ ЛИРИКИ. С древнейших времен до нашего времени.

Зигмунд ФРЕЙД. ИЗБРАННОЕ. Перевод с немецкого Л. А. Голлербах.

Ряд других книг, подготовляющихся к печати, будет перечислен в следующих наших изданиях.

СОДЕРЖАНИЕ

СУМАСШЕДШИЙ КОРАБЛЬ

Produced by Rausen Language Division, 150 Varick Street, New York, N. Y. 10013

ЦЕНА $3.00